





Оскар
УАЙЛЬД



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
ПРОЗЫ И ДРАМАТУРГИИ
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)
У12

Серия основана
в 2007 году

Перевод с английского

Уайльд Оскар

У12 Полное собрание прозы и драматургии в одном томе/ Пер. с англ. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1263 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0123-9

В одном томе собраны все прозаические и драматические произведения «самого интернационального из всех британцев», писателя, добившегося всемирной славы, классика английской и мировой литературы Оскара Уайльда (1854—1900). Символист, декадент, мастер эффектной фабулы, популяризатор искусства и изобретатель эстетико-религиозных догматов, ставивший «эстетику выше этики», человек, чье творчество было обращено к «толпе ценителей, а не к узкому кружку снобов», и сегодня продолжает вызывать восхищение своим многогранным талантом у всех ценителей слова.

В приложении приведены три знаменитые поэмы Оскара Уайльда: «Сфинкс», «Баллада Редингской тюрьмы» и «Равенна».

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-9922-0123-9

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ





Портрет Дориана Грея

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — тот, кто создает прекрасное. Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способен узреть в прекрасном его высокий смысл, — люди культурные. Они небезнадежны.

Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства — в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель — материал для его творчества.

Если говорить о форме — прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях — художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд



ГЛАВА I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст раkitника, — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетающих мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, — и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. — Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.

— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже — когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное, и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой

ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, — но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, — естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, — значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, — чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не лсти себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, — без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родст-

венникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько, — возразил лорд Генри. — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, — а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри, — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна? — спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.

— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый, с белой опушкой, пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крыльшках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот... — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что,

если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Гарри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.

— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— И что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе — продающиеся с молотка вещи: она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего белого шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные, и потому уме-

ют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми пороками высших классов. Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть *их* привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саутуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

— Во всем, что ты тут наговорил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрасудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неизвестны. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет, — ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, — и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

— Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, — хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает

ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри. — И быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное и начинаем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!

— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно-интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри. — Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду:

— Знаешь, я сейчас вспомнил...

— Что вспомнил, Гарри?

— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины — во всяком случае, добродетельные женщины, — не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, — и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.

— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы познакомились.

— Не хочешь, чтобы мы познакомились?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.

— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца:

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права.

Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

ГЛАВА II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».

— Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Бэзил.

— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

— Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения. — Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчеплский клуб — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, — кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, — ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан смеясь.

Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовались искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

— Ну можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, — сказал лорд Генри и, развалившись на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

— Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана:

— Уйти мне, мистер Грей?

— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свидания, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет,

я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоело стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. — Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

— А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся:

— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитеесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему же?

— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые вообще существуют, — будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед богом, страх, на котором держится религия, — вот что властвует над нами. Между тем...

— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного впра-

во, — попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

— А между тем, — своим низким певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятыми всем, кто знал его еще в Итоне, — мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражению каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни Средневековья и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Пойдите, пойдите! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзилем, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой

до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали *слова!* Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, слаще звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

— Бэзил, я устал стоять! — воскликнул вдруг Дориан. — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными гла-

зами. — Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня как никогда хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорошо.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

— Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

— Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывали интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека, — и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзилем Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

— Давайте сядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри. — Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солн-

цепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.

— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

— Для вас это очень важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я этого не думаю, лорд Генри.

— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избородят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, — вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все

новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедонизм — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракичник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку выюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

— Я жду, — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

РАССКАЗЫ





Преступление лорда Артура Сэвила

Размышление о чувстве долга

I

Леди Уиндермир давала последний прием перед Пасхой, и дом был заполнен до отказа. Шесть министров явились прямо из парламента в орденах и лентах, светские красавицы блистали изящнейшими туалетами, а в углу картинной галереи стояла принцесса София из Карлсруэ — грузная дама с роскошными изумрудами и крохотными черными глазками на скуластом татарском лице; она очень громко говорила на скверном французском и неумеренно хотела в ответ на любую реплику. Как все чудесно перемешалось! Сиятельные леди запросто болтали с воинствующими радикалами, прославленные проповедники по-приятельски беседовали с известными скептиками, стайка епископов порхала из зала в зал вслед за дебелой примадонной, на лестнице стояли несколько действительных членов Королевской академии, маскирующихся под богему, и прошел слух, что столовую, где накрыли ужин, просто оккупировали гении. Без сомнения, это был один из лучших вечеров леди Уиндермир, и принцесса задержалась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист серьезно и обстоятельно разъяснял научную теорию музыки негодующему виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней Пейсли.

Как хороша была хозяйка вечера! Невозможно не восхищаться белизной ее точеной шеи, незабудковой синевой глаз и золотом волос. То было и в самом деле *or pur*¹, а не бледно-желтый цвет соломы, который ныне смеют сравнивать с благородным металлом, то

¹ Чистое золото (*франц.*).

было золото, вплетенное в солнечные лучи и упрятанное в таинственной толще янтаря; в золотом обрамлении ее лицо светилось, как лик святого, но и не без магической прелести греха. Она являла собой интересный психологический феномен. Уже в юности она познала ту важную истину, что опрометчивость и легкомыслие чаще всего почитают за невинность. За счет нескольких дерзких проделок — большей частью, впрочем, совершенно безобидных — она приобрела известность и уважение, подобающие видной личности. Она не раз меняла мужей (согласно справочнику Дебретта, их у нее было три), но сохранила одного любовника, и потому пересуды на ее счет давно прекратились. Ей недавно исполнилось сорок, она была бездетна и обладала той неумной жадой удовольствий, которая единственно и продлевает молодость.

Вдруг она нетерпеливо огляделась и проговорила своим чистым контральто:

— Где мой хиромант?

— Кто-кто, Глэдис? — вздрогнув, воскликнула герцогиня.

— Мой хиромант, герцогиня. Я теперь жить без него не могу.

— Глэдис, милая, ты всегда так оригинальна, — пробормотала герцогиня, пытаясь вспомнить, что такое хиромант, и опасаясь худшего.

— Он приходит два раза в неделю, — продолжала леди Уиндермир, — и извлекает интереснейшие вещи из моей руки.

— О боже! — тихо ужаснулась герцогиня. — Что-то вроде мольного оператора. Какой кошмар. Надеюсь, он по крайней мере иностранец. Это было бы еще не так страшно.

— Я непременно должна вас познакомиться.

— Познакомить! — вскричала герцогиня. — Он что же, здесь? — Она принялась искать глазами свой черепаховый веер и весьма потрепанную кружевную накидку, с тем чтобы, если потребуется, ретироваться без промедления.

— Разумеется, он здесь. Какой же прием без него. Он говорит, что у меня богатая, одухотворенная рука и что если бы большой палец был чуточку короче, то я была бы меланхолической натурой и пошла в монастырь.

— Ах вот что. — У герцогини отлегло от сердца. — Он гадает!

— И угадывает! — подхватила леди Уиндермир. — И так ловко! Вот в будущем году, например, меня подстерегает большая опасность и на суше и на море, так что я буду жить на воздушном ша-

ре, а ужин мне по вечерам будут поднимать в корзине. Это все написано на моем мизинце — или на ладони, я точно не помню.

— Ты искушаешь провидение, Глэдис.

— Милая герцогиня, я уверена, что провидение давно научилось не поддаваться искушению. По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее! Если кто-нибудь сейчас же не отыщет мистера Поджерса, я пойду за ним сама.

— Позвольте мне, леди Уиндермир, — сказал высокий красивый молодой человек, который в продолжение всего разговора стоял, улыбаясь, рядом.

— Спасибо, лорд Артур, но вы же его не знаете.

— Если он такой замечательный, как вы рассказываете, леди Уиндермир, я его ни с кем не спутаю. Опишите его внешность, и я сию же минуту приведу его.

— Он совсем не похож на хироманта. То есть в нем нет ничего таинственного, романтического. Маленький, полный, лысый, в больших очках с золотой оправой — нечто среднее между семейным доктором и провинциальным стряпчим. Сожалею, но я, право, не виновата. Все это очень досадно. Мои пианисты страшно похожи на поэтов, а поэты на пианистов. Помню, в прошлом сезоне я пригласила на обед настоящее чудовище — заговорщика, который взрывает живых людей, ходит в кольчуге, а в рукаве носит кинжал. И что бы вы думали? Он оказался похожим на старого пастора и весь вечер шутил с дамами. Он был очень остроумен и все такое, но представьте, какое разочарование! А когда я спросила его о кольчуге, он только рассмеялся и ответил, что в Англии в ней было бы холодно. А вот и мистер Поджерс! Сюда, мистер Поджерс. Я хочу, чтобы вы погадали герцогине Пейсли. Герцогиня, вам придется снять перчатку. Нет, не эту, другую.

— Право, Глэдис, это не вполне прилично, — проговорила герцогиня, нехотя расстегивая отнюдь не новую лайковую перчатку.

— Все, что интересно, не вполне прилично, — парировала леди Уиндермир. — *On a fait le monde ainsi!*¹ Но я должна вас познакомить. Герцогиня, это мистер Поджерс, мой прелестный хиромант.

¹ Так уж устроен мир (франц.).

Мистер Поджерс, это герцогиня Пейсли, и если вы скажете, что ее лунный бугор больше моего, я вам уже никогда не поверю.

— Глэдис, я уверена, что у меня на руке нет ничего подобного, — с достоинством произнесла герцогиня.

— Вы совершенно правы, ваша светлость, — сказал мистер Поджерс, взглянув на пухлую руку с короткими толстыми пальцами, — лунный бугор не развит. Но линия жизни, напротив, видна превосходно. Согните, пожалуйста, руку. Вот так, благодарю. Три четкие линии на сгибе! Вы доживете до глубокой старости, герцогиня, и будете очень счастливы. Честолюбие... весьма скромно, линия интеллекта... неутрирована, линия сердца...

— Говорите все как есть, мистер Поджерс! — вставила леди Уиндермир.

— С превеликим удовольствием, сударыня, — сказал мистер Поджерс и поклонился, — но увы, герцогиня не дает повода для пространных рассказов. Я вижу редкое постоянство в сочетании с завидным чувством долга.

— Продолжайте, прошу вас, мистер Поджерс, — весьма благоклонно произнесла герцогиня.

— Не последнее из достоинств вашей светлости — бережливость, — продолжал мистер Поджерс, и леди Уиндермир прыснула со смеху.

— Бережливость — прекрасное качество, — удовлетворенно проговорила герцогиня. — Когда я вышла за Пейсли, у него было одиннадцать замков и ни одного дома, пригодного для жизни.

— А теперь у него двенадцать домов и ни одного замка! — отозвалась леди Уиндермир.

— Видишь ли, милая, я люблю...

— Комфорт, — произнес мистер Поджерс, — удобства и горячую воду в каждой спальне. Вы совершенно правы, ваша светлость. Комфорт — это единственное, что может нам дать цивилизация.

— Вы чудесно отгадали характер герцогини, мистер Поджерс. Теперь погадайте леди Флоре. — Повинуясь знаку улыбающейся хозяйки, из-за дивана неловко выступила высокая девушка с острыми лопатками и рыжеватыми волосами, выдающими шотландское происхождение; она протянула худую, длинную руку с крупными и как бы приплюснутыми пальцами.

— А, пианистка! Вижу, вижу, — сказал мистер Поджерс. — Превосходная пианистка, хотя, пожалуй, и не из тех, что зовутся музыкантами. Скромна, честна, очень любит животных.

— Сущая правда! — воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир. — Флора держит в Маккლოსки две дюжины овчарок. Она бы и наш городской дом превратила в зверинец, если б только отец позволил.

— Со своим домом я это проделываю каждый четверг, — рассмеедась леди Уиндермир, — вот только овчаркам предпочитаю львов.

— Тут вы ошибаетесь, леди Уиндермир, — сказал мистер Поджерс и чинно поклонился.

— Женщина без милых ошибок — это не женщина, а особа женского пола. Но погадайте нам еще. Сэр Томас, покажите вашу руку.

Приятного вида пожилой господин в белом жилете протянул большую шершавую руку с весьма длинным средним пальцем.

— Непоседливый нрав: четыре дальних путешествия в прошлом, одно еще предстоит. Трижды попадал в кораблекрушение. Нет-нет, дважды, но рискует разбиться вновь. Убежденный консерватор, весьма пунктуален, страстный коллекционер. Тяжело болел в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. В тридцать унаследовал крупное состояние. Питает отвращение к кошкам и радикалам.

— Поразительно! — вскричал сэр Томас. — Вы непременно должны погадать моей жене.

— Вашей второй жене, — уточнил мистер Поджерс, все еще не выпуская из рук пальцы сэра Томаса. — С превеликим удовольствием.

Но леди Марвел — меланхоличная дама с каштановыми волосами и сентиментальными ресницами — наотрез отказалась предать гласности свое прошлое и будущее, а русский посол мосье де Колов не пожелал даже снять перчатки, несмотря на все увещевания леди Уиндермир. Да и многие другие побоялись предстать перед забавным человечком с шаблонной улыбкой, очками в золотой оправе и проницательными глазами-бусинками; а уж когда он сказал бедной леди Фермер — прямо здесь, в обществе, — что она равнодушна к музыке, но очень любит музыкантов, никто более не сомневался, что хиромантия — крайне опасная наука и поощрять ее не следует, кроме как *tête-a-tête*¹.

Однако лорду Артуру Сэвилу, который ничего не знал о пе-

¹ С глазу на глаз (*франц.*).

чальной истории леди Фермор и с немалым интересом наблюдал за мистером Поджерсом, чрезвычайно захотелось, чтобы ему тоже погадали, но, не решаясь громко заявить о своем желании, он подошел к леди Уиндермир и, очаровательно покраснев, спросил, удобно ли, по ее мнению, побеспокоить мистера Поджерса.

— Ну разумеется! — сказала леди Уиндермир. — Он здесь для того, чтобы его беспокоили. Все мои львы, лорд Артур, это львы-артисты; по первому моему слову они прыгают через обруч. Но я вас предупреждаю, что ничего не утаю от Сибил. Я жду ее завтра к обеду — нам надо поболтать о шляпках, и, если мистер Поджерс выяснит, что у вас дурной нрав, или склонность к подагре, или жена в Бейсуотере, я все ей непременно передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой.

— Я не боюсь. Она обо мне все знает, как и я о ней.

— В самом деле? Вы меня, право, немного огорчили. Взаимные иллюзии — вот лучшая основа для брака. Нет-нет, я не цинична, просто у меня есть опыт — впрочем, это одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Сэвил мечтает, чтоб вы ему погадали. Только не говорите, что он обручен с одной из милейших девушек в Лондоне; об этом «Морнинг пост» сообщила месяц тому назад.

— Леди Уиндермир, душечка, — вскричала маркиза Джедберг, — оставьте мне мистера Поджерса! Он только что сказал, что меня ждут подмостки — как интересно!

— Если он вам такое сказал, леди Джедберг, я заберу его от вас сию же секунду. Сюда, мистер Поджерс. Погадайте лорду Артуру.

— Что ж, — леди Джедберг соорзила обиженное личико и поднялась с дивана, — если мне нельзя на сцену, разрешите хотя бы быть зрителем.

— Разумеется. Мы все будем зрителями, — объявила леди Уиндермир. — Итак, мистер Поджерс, сообщите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур — мой любимец.

Но, взглянув на руку лорда Артура, мистер Поджерс странно побледнел и не произнес ни слова. Он зябко поежился, и его кустистые брови уродливо задергались, как это случалось, когда он был в растерянности. На желтоватом лбу мистера Поджерса появились крупные бусинки пота, словно капли ядовитой росы, а его толстые пальцы сделались влажными и холодными.

Лорд Артур заметил эти признаки смятения и сам — впервые в жизни — почувствовал страх. Ему захотелось повернуться и бежать,

но он сдержал себя. Лучше знать все, даже самое ужасное. Невыносимо оставаться в неведении.

— Я жду, мистер Поджерс, — сказал он.

— Мы все ждем! — нетерпеливо заметила леди Уиндермир, но хиромант по-прежнему молчал.

— Артуру, наверное, суждено играть на театре, — предположила леди Джедберг, — но вы были так строги с мистером Поджерсом, что он вас теперь боится.

Внезапно мистер Поджерс отпустил правую руку лорда Артура и схватил левую, склонившись над ней так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. Мгновение его побелевшее лицо выражало неподдельный ужас, но он быстро совладал с собой и, повернувшись к леди Уиндермир, произнес с деланой улыбкой:

— Передо мной рука очаровательного молодого человека.

— Это ясно, — ответила леди Уиндермир. — Но будет ли он очаровательным мужем? Вот что я хочу знать.

— Как все очаровательные молодые люди, — сказал мистер Поджерс.

— По-моему, муж не должен быть слишком обворожительным, — в задумчивости проговорила леди Джедберг. — Это опасно.

— Дитя мое, — воскликнула леди Уиндермир, — муж никогда не бывает слишком обворожителен! Но я требую подробностей. Только подробности интересны. Что ждет лорда Артура?

— Гм, в течение ближайших месяцев лорд Артур отправится в путешествие...

— Ну разумеется, в свадебное!

— И потеряет одного из родственников.

— Надеюсь, не сестру? — жалобно спросила леди Джедберг.

— Нет, безусловно не сестру. — Мистер Поджерс жестом успокоил ее. — Кого-то из дальней родни.

— Что ж, я безумно разочарована, — заявила леди Уиндермир. — Мне абсолютно нечего рассказать Сибил. Дальняя родня теперь никого не волнует — она давно уже вышла из моды. Впрочем, пусть Сибил купит черного шелку — он хорошо смотрится в церкви. А теперь ужинать. Там, конечно, давно все съели, но нам, быть может, подадут горячий суп. Когда-то Франсуа готовил отменный суп, но теперь он так увлекся политикой, что я не знаю, чего и ждать. Скорее бы угомонился этот генерал Буланже. Герцогиня, вы не устали?

— Вовсе нет, Глэдис, свет мой, — отозвалась герцогиня, ковы-

ляя к двери. — Я получила огромное удовольствие, и этот твой ортодонт, то бишь хиромант, весьма интересен. Флора, где мой черепаховый веер? Ах, спасибо, сэра Томас. А моя кружевная накидка, Флора? Благодарю вас, сэра Томас, вы очень любезны. — И сия достойная дама спустилась наконец по лестнице, уронив свой флакон с духами не более двух раз.

В продолжение всего этого времени лорд Артур Сэвил стоял у камина, объятый нестерпимым страхом, язвящей душу тревогой перед безжалостным роком. Он грустно улыбнулся сестре, когда та пропорхнула мимо в прелестной розовой парче и жемчугах, легко опершись на руку лорда Плимдейла, и словно во сне слышал, как леди Уиндермир пригласила его следовать за собой. Он думал о Сибил Мертон — и при мысли, что их могут разлучить, его глаза затуманились от слез.

Глядя на него, можно было подумать, что Немезида, похитив щит Афины, показала ему голову Медузы Горгоны. Он словно окаменел, а меланхолическая бледность сделала его лицо похожим на мрамор. Сын знатных и богатых родителей, до сих пор он знал лишь жизнь, полную чудесной роскоши и тонкого изящества, жизнь по-мальчишески беспечную, начисто лишённую презренных забот; теперь — впервые — он прикоснулся к ужасной тайне бытия, ощутил трагическую неотвратимость судьбы.

Чудовищно, невероятно! Неужели на его руке начертано тайное послание, которое расшифровал этот человек, — предвестие злодейского греха, кровавый знак преступления? Неужели нет спасения? Или мы в самом деле всего лишь шахматные фигуры, которые незримая сила передвигает по своей воле, — пустые сосуды, подвластные рукам гончара, готовые для славы и для позора? Разум восставал против этой мысли, но лорд Артур чувствовал близость ужасной трагедии, словно вдруг на него взвалили непосильную ношу. Хорошо актерам! Они выбирают, что играть, — трагедию или комедию, сами решают, страдать им или веселиться, лить слезы или хохотать. Но в жизни все не так. В большинстве своем мужчины и женщины вынуждены играть роли, для которых они совсем не подходят. Наши Гильденстерны играют Гамлета, а наши Гамлеты паясничают, как принц Хэл. Весь мир — театр, но спектакль выходит скверный, ибо роли распределены из рук вон плохо.

Внезапно в гостиную вошел мистер Поджерс. Увидев лорда Артура, он вздрогнул, и его крупное, одутловатое лицо стало зелено-желтым. Их глаза встретились, и с минуту оба молчали.

— Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и меня за ней послали, — проговорил наконец мистер Поджерс. — Вот она, на диване. Честь имею.

— Мистер Поджерс, я настаиваю, чтобы вы мне прямо ответили на один вопрос.

— В другой раз, лорд Артур. Герцогиня очень волнуется. Ну я пойду.

— Нет, не пойдете. Герцогиня подождет.

— Нехорошо заставлять даму ждать, лорд Артур, — пролепетал мистер Поджерс со своей тошнотворной улыбочкой. — Прекрасному полу свойственно нетерпение.

Красивые губы лорда Артура слегка изогнулись, придав лицу дерзкое, презрительное выражение. Какое ему было дело в эту минуту до бедной герцогини! Он пересек гостиную и, остановившись перед мистером Поджерсом, протянул руку:

— Скажите, что вы там прочли. Скажите правду. Я должен знать. Я не ребенок.

Глазки мистера Поджерса заморгали за стеклами очков; он неловко переминался с ноги на ногу, теребя блестящую цепочку от часов.

— А почему вы, собственно, решили, лорд Артур, что я прочел по вашей руке больше, чем сказал?

— Я в этом уверен и желаю все знать. Я заплачу. Я дам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глазки сверкнули и вновь погасли.

— Сто гиней? — еле слышно произнес мистер Поджерс после долгого молчания.

— Да, разумеется. Я пришлю вам чек завтра. Какой у вас клуб?

— Я не состою в клубе. Временно не состою. Мой адрес... но позвольте, я дам вам свою карточку. — С этими словами мистер Поджерс извлек из кармана карточку с золотым обрезом и, низко поклонившись, протянул ее лорду Артуру.

М-Р СЕПТИМУС Р. ПОДЖЕРС

Профессиональный хиромант

Уэст-Мун-стрит, 103 а

— Я принимаю с десяти до четырех, — машинально добавил мистер Поджерс. — Семьям предоставляю скидку.

— Быстрее! — вскричал лорд Артур. Он по-прежнему стоял с протянутой рукой и был чрезвычайно бледен.

СКАЗКИ





Юный Король

*Посвящается Маргарет
леди Брук рани Саравака*

В ночь накануне того дня, когда была назначена коронация, юный Король сидел в одиночестве в своих прекрасных покоях. Все придворные попрощались с ним, отвесив, по обычаю того времени, земной поклон, и удалились в Большой зал дворца, чтобы выслушать последние наставления от Профессора Этикета, поскольку некоторые из них все еще держались совершенно естественно, а это, надо вам заметить, весьма серьезный проступок со стороны придворного.

Их уход не вызвал сожалений у мальчика — ведь он и был всего только мальчиком шестнадцати лет от роду, — с глубоким вздохом облегчения откинулся он на мягкие подушки своего расшитого узорами ложа и лежал с испуганными глазами и приоткрытым ртом, словно смуглый лесной Фавн или молодое животное из заповедной роши, только что пойманное охотниками.

А его и впрямь отыскиали охотники, случайно повстречавшие его, когда он, босоногий, со свирелью в руках, гнал стадо коз бедного пастуха, который его вырастил и сыном которого он всегда себя считал. Ребенок единственной дочери старого Короля от тайного брака с человеком много ниже ее по своему положению — чужеземцем, как утверждали одни, который волшебством — чудесной игрой на лютне — внушил любовь юной Принцессе; другие говорили о художнике из Римини, которому Принцесса оказала большую, может быть чересчур большую, честь и который внезапно исчез, так и не закончив своей работы в Соборе, — итак, ребенок единственной дочери старого Короля, когда ему исполнилась всего неделя, был похищен прямо от матери, пока она спала, и отдан на воспитание простому крестьянину и его жене, не имевшим своих детей и жившим далеко в лесу, откуда до города и за день не доедешь. Горе ли, или болезнь, как утверждал придворный лекарь,

или же быстродействующий итальянский яд, подмешанный в бокал пряного вина, как полагали другие, убили невинную, что произвела его на свет, через час после ее пробуждения; и когда доверенный гононец Короля, увезший ребенка на луке седла, еще только склонялся с утомленной лошади и стучал в дверь убогой хижины пастуха, тело Принцессы уже опускали в свежеврытую могилу на заброшенном кладбище за городскими воротами, где, как поговаривали, будто бы покоилось другое тело — того юноши дивной чужеземной красоты, и руки его были связаны за спиной веревкой, стянутой узлом, а на груди зияло множество кровавых ран, нанесенных кинжалом.

Во всяком случае, такую историю передавали шепотом люди из уст в уста. Несомненно лишь, что на смертном одре старый Король, то ли движимый раскаянием в содеянном им грехе, то ли не желая, чтобы королевство досталось человеку чужого рода, велел послать за мальчиком и перед лицом Совета провозгласил его своим наследником.

И кажется, будто с первого же мгновения, как он был признан, в нем проявились признаки того странного влечения к красоте, которому суждено было так сильно повлиять на его жизнь. Те, кто сопровождал его в отведенные ему покои, часто рассказывали, какой восхищенный возглас сорвался с его губ, когда он увидел приготовленные для него изысканные одеяния и дорогие украшения, с какой почти неистовой радостью он сбросил свою куртку из толстой кожи и грубый плащ из овечьей шкуры. Правда, временами он тосковал о своей привольной лесной жизни, и его неизменно сердили утомительные дворцовые церемонии, отнимавшие ежедневно столько времени, но чудесный дворец — дворец Joyeuse, как его называли, — владельцем которого он теперь стал, казался ему новым миром, заново украшенным по его велению, и, как только ему удавалось ускользнуть с заседания Совета или из зала аудиенций, он сбегал вниз по парадной лестнице с бронзовыми позолоченными львами и ступенями из чистого порфира и бродил по комнатам и переходам, словно человек, который надеется обрести в красоте некое утоляющее боль снадобье, своего рода исцеление.

В этих путешествиях за открытиями, как он сам их называл — а для него это и впрямь были дивные странствия по дивной стране, — его иногда сопровождали стройные белокурые пажи в развевающихся накидках и ярких трепещущих лентах, но чаще он ходил один, каким-то чутьем, которое сродни пророческому дару, угадав, что тайны искусства лучше всего постигаются втайне и что, подобно Мудрости, Красота любит одиноких почитателей.

Много забавных историй рассказывали о нем в эту пору. Говорили, будто дородный Бургомистр, явившийся, чтобы произнести цветистую речь — приветствие от имени жителей города, — застал его коленапоклоненным и замеревшим в истинном восхищении перед огромной картиной, которая была только что доставлена из Венеции и, видимо, предвещала поклонение каким-то новым богам. В другой раз он пропадал несколько часов, и после длительных поисков его обнаружили в маленькой комнатке в одной из северных башен дворца — он словно в трансе рассматривал греческую гемму с фигурой Адониса. Ходила молва, будто видели, как он своими теплыми губами припал к мраморному челу античной статуи, которую нашли на дне реки при сооружении каменного моста и на которой было высечено имя вифинского раба императора Адриана. Он провел целую ночь, созерцая игру лунного света на серебряном изваянии Эндимиона.

Его, безусловно, очаровывали все редкие и дорогие вещи, и, стограя от желания получить их, он разослал повсюду множество купцов: к диким рыбакам северных морей — за янтарем, в Египет — за той странной, зеленой бирюзой, что находят лишь в царских гробницах, в Персию — за шелковыми коврами и расписными сосудами, в Индию — за кисеей и разрисованной слоновой костью, за лунным камнем и браслетами из яшмы, за сандалом, голубой эмалью и шальями из тонкой шерсти.

Но больше всего занимали его сотканная из золотых нитей мантия, которую ему предстояло надеть на коронацию, корона с рубинами и скипетр, усыпанный жемчугом, выложенным рядами и кругами. Об этом он как раз и думал в ту ночь, раскинувшись на роскошном ложе, глядя на огромное сосновое полено, догоравшее в камине. Много месяцев назад ему доставили эскизы, принадлежавшие кисти знаменитейших художников того времени, и он повелел, чтобы ремесленники трудились день и ночь, стараясь их воплотить, и чтобы по всему свету искали драгоценные камни, которые были бы достойны их работы. В своем воображении он увидел себя перед высоким алтарем в соборе в прекрасном королевском облачении, и улыбка заиграла на его детских губах и не сходила с них, ярким сиянием озаряя его темные лесные глаза.

Спустя некоторое время он поднялся со своего ложа и, прислонясь к резному навесу над камином, окинул взглядом полуосвещенные покои. Стены были увешаны богатыми гобеленами, изображающими Триумф Красоты. Один угол занимал огромный шкаф, выложенный агатом и ляпис-лазурью, напротив окна стоял дивной работы сервант с золочеными лакированными стенками, покрыты-

ми золотой мозаикой, в котором помещались изящные бокалы венецианского стекла и кубок из темного, в прожилках оникса. На шелковом покрывале, устилавшем его ложе, были вышиты бледные маки, словно выпавшие из усталых рук сна; высокие, стройные, как тростник, колонны из точеной слоновой кости поддерживали бархатный балдахин, над которым, словно белая пена, вздымались к бледному серебру резного потолка огромные султаны страусовых перьев. В головах смеющийся Нарцисс из позеленевшей бронзы держал полированное зеркало. На столе стоял плоский фиал из аметиста.

Он видел за окном огромный купол собора, округлый контур которого нависал над призрачными домами, и усталых часовых, шагавших взад и вперед по окутанной туманом террасе у реки. Вдали, в саду, пел соловей. Из открытого окна тянуло слабым ароматом жасмина. Откинув со лба темные кудри, он взял лютню и пробежал пальцами по струнам. Тяжелые веки смежились, и странная усталость овладела им. Никогда прежде не испытывал он с такой остротой, или с такой бесконечной радостью, магию и таинство красивых вещей.

Когда башенные часы пробили полночь, он позвонил в колокольчик, явились пажи и раздели его с великими церемониями, омыв ему руки розовой водой и осыпав его подушку цветами. И стоило лишь им покинуть комнату, как он тотчас заснул.

И когда он спал, ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он стоит в длинном зале с низким потолком, под самой крышей, среди жужжания и грохота множества ткацких станков. Тусклый свет сочился сквозь зарешеченные окна, позволяя различить изможденные фигуры, склонившиеся над работой. Бледные, болезненного вида дети сидели, скрючившись, на поперечных балках. Когда челноки проходили через основу, они поднимали тяжелые кросна, а когда челноки останавливались, они их отпускали, и те, падая, прижимали одну нить к другой. Их лица осунулись от голода, тонкие ручки тряслись и дрожали. У стола сидело несколько изможденных женщин, они шили. Ужасное зловоние наполняло пространство. Воздух был тяжелый и смрадный, на стенках каплями проступала влага, струйками стекая вниз.

Юный Король подошел к одному из ткачей и остановился, наблюдая за ним.

Ткач сердито посмотрел на него и сказал:

— Ты чего наблюдаешь за мной? Ты шпион, которого хозяин приставил следить за нами?

— Кто твой хозяин? — спросил юный Король.

— Наш хозяин! — воскликнул ткач с горечью. — Он такой же

человек, как и я. Право, между нами только и разницы, что он носит прекрасные одежды, тогда как я хожу в отрепьях, и, в то время как я слабею от голода, он едва ли не страдает от обжорства.

— Это свободная страна, — сказал юный Король, — и ты не раб.

— На войне, — отвечал ткач, — сильные превращают в рабов слабых, а в мирное время богатые превращают в рабов бедняков. Чтобы жить, мы должны трудиться, а они дают нам такую скудную плату, что мы умираем. Мы корпим на них целый день, а у них груды золота в сундуках, наши дети вянут до времени, и лица тех, кого мы любим, грубеют и становятся злыми. Мы давим виноград, а вино пьют другие. Мы сеем хлеб, но наш стол пуст. Мы влачим цепи, хотя они и невидимы глазу, и, хотя нас называют свободными, мы рабы.

— И это относится ко всем? — спросил юный Король.

— Ко всем, — отвечал ткач, — как к молодым, так и к старым, и к женщинам так же, как к мужчинам, к малолетним так же, как к престарелым. Торговцы сдирают с нас шкуру, и нам поневоле приходится делать, что они велят. Приедет священник, прочтает молитвы, перебирая четки, а до нас никому нет дела. По нашим улицам, что не знают солнца, крадется Нищета с голодными глазами, а за ней по пятам — Грех с испитым лицом. Беда будит нас поутру, и Стыд сидит с нами по вечерам. Но что тебе до всего этого? Ты не из нашего числа. У тебя слишком счастливое лицо.

И он отвернулся, нахмурившись, и запустил утёк на своем станке, и юный Король увидел, что в него вложена золотая нить.

И великий ужас охватил его, и он спросил ткача:

— Что за мантию ты ткешь?

— Это мантия для коронации юного Короля, — отвечал тот. — Тебе-то что до этого?

И юный Король громко вскрикнул и проснулся, и — о чудо! — он был в своих покоях, и в окне он увидел огромную луну цвета мёда, висевшую в темном небе.

И он снова заснул, и ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он возлежит на палубе огромной галеры, где была сотня рабов, которые гребли. На ковре рядом с ним сидел хозяин галеры. Он был черен, как эбеновое дерево, и на голове у него был тюрбан алого шелка. Громадные серебряные серьги оттягивали толстые мочки его ушей, в руках он держал весы из слоновой кости.

На рабах не было ничего, кроме рваных набедренных повязок, и каждый был прикован цепью к соседу. Жаркое солнце нещадно па-

лило их, взад и вперед по проходу бегали негры, осыпая их ударами кожаных бичей. Они вытягивали тощие руки и, налегая на тяжелые весла, рассекали ими воду. От весел разлетались соленые брызги.

Наконец они достигли небольшого залива и стали измерять глубину. С берега дул легкий ветер, покрывая палубу и огромный треугольный парус мельчайшей красной пылью. Показались три араба на диких ослах и метнули в них копья. Хозяин галеры взял расписной лук и сразил одного из них, попав тому в шею. Он тяжело свалился в прибрежную пену, а его товарищи ускакали. За ними последовала закутанная в желтое покрывало и чадру женщина на медленно ступавшем верблюде, время от времени оглядываясь на труп.

Как только они бросили якорь и убрали парус, негры спустились в трюм и принесли оттуда длинную веревочную лестницу с тяжелыми свинцовыми грузилами. Хозяин галеры привязал концы к железным пиллерсам и перекинул лестницу через борт. Потом негры схватили самого юного из рабов, сбили его кандалы, залили ему ноздри и уши воском и привязали к поясу большой камень. Усталое он сполз по лестнице вниз и исчез в море. Там, где он погрузился в воду, поднялось несколько пузырьков. Некоторые рабы с любопытством смотрели за борт. На носу галеры сидел заклинатель акул и монотонно бил в барабан.

Спустя некоторое время ныряльщик показался над водой и, тяжело дыша, ухватился за лестницу — в правой руке у него была жемчужина. Негры выхватили ее и опять столкнули его в воду. Рабы заснули у своих весел.

Снова и снова поднимался он, принося каждый раз прекрасную жемчужину. Хозяин галеры взвешивал их и опускал в маленький мешочек из зеленой кожи.

Юный Король пытался заговорить, но язык его словно прилип к небу, и губы отказывались шевелиться. Болтавшие друг с другом негры затеяли ссору из-за нитки ярких бус. Над галерой все кружила и кружила пара журавлей.

Потом пловец поднялся на поверхность в последний раз, и жемчужина, которую он принес, была прекраснее всех жемчугов Ормуза, потому что по форме она была словно луна в полнолуние, и была она бледнее утренней звезды. Но лицо раба заливала странная бледность, и, когда он упал на палубу, из носа и ушей его хлынула кровь. Некоторое время его сотрясала дрожь, потом он затих. Негры пожали плечами и бросили тело за борт.

Владелец галеры рассмеялся, протянул руку и взял жемчужину, и когда он увидел ее, то прижал ее ко лбу и поклонился.

— Она пойдет, — сказал он, — на скипетр юного Короля, — и подал знак неграм сниматься с якоря.

И когда юный Король услышал это, он громко вскрикнул и проснулся и увидел в окно, как рассвет длинными серыми пальцами цепляется за меркнущие звезды.

И он снова заснул, и ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он идет по темному лесу среди деревьев, увешанных странного вида плодами и покрытых прекрасными ядовитыми цветами. Гадюки шипели, когда он проходил мимо, и яркие попугаи с криком перелетали с ветки на ветку. Огромные черепахи спали, разлегшись в горячей болотной тине. На деревьях сидело множество обезьян и павлинов.

Шел он шел, пока не вышел на опушку, и тут он увидел несметное скопище людей, которые работали в русле высохшей реки. Они кишели на склоне утеса, точно муравьи. Они рыли в земле глубокие ямы и спускались в них. Кто-то отбивал камень большим кайлом, кто-то рылся в песке. Они вырывали с корнями кактус и топтали алые цветы. Они торопились, перекликаясь друг с другом, ни один не сидел без дела.

Из темной пещеры за ними наблюдали Смерть и Жадность, и Смерть проговорила:

— Я устала; отдай мне третью часть этих людей и отпусти меня. Но Жадность покачала головой.

— Это мои слуги, — отвечала она.

И Смерть сказала ей:

— Что у тебя в руке?

— У меня три зернышка, — ответила та, — а тебе что до этого?

— Дай мне одно из них, — воскликнула Смерть, — я посажу его у себя в саду; только одно, и я уйду.

— Ничего я тебе не дам, — сказала Жадность и спрятала руку в складках платья.

И Смерть рассмеялась и, взяв кружку, опустила ее в лужу, и из кружки вышла Малярия. Прошла она среди великого скопища людей, и треть из них полегла, сраженная насмерть. Следом за ней плыл холодный туман, а рядом скользили водяные змеи.

И когда увидела Жадность, что треть людей полегла, ударила она себя в обнаженную грудь и возопила.

— Ты убила треть моих слуг, — кричала она, — убирайся отсюда. В горах Татарии идет война, и цари обеих сторон призывают тебя. Афганцы зарезали черного быка и выступили в поход. Они ударили

копьями по своим щитам и надели железные шлемы. На что тебе моя долина, что ты медлишь здесь? Убирайся отсюда и никогда больше не появляйся здесь.

— Нет, — отвечала Смерть, — не уйду, пока ты не дашь мне одного зерна.

Но Жадность сжала руку и стиснула зубы.

— Ничего я тебе не дам.

И Смерть рассмеялась и, подняв черный камень, бросила его в лес, и из зарослей дикого болиголова вышла Лихорадка в огненном облачении. Прошла она среди скопища людей, прикасаясь к ним, и каждый, кого она коснулась, умирал. И когда она проходила, трава жухла у нее под ногами.

И Жадность содрогнулась и посыпала голову пеплом.

— Ты жестока, — воскликнула она, — жестока! Голод царит в обнесенных стенами городах Индии, и водоемы Самарканда пересохли. Голод царит в обнесенных стенами городах Египта, а из пустыни налетела саранча. Нил не разлился, и жрецы взывают к милости Изиды и Озириса. Отправляйся к тем, кому ты нужна, и оставь мне моих слуг.

— Нет, — отвечала Смерть, — не уйду, пока ты не дашь мне одного зерна.

— Ничего я тебе не дам, — сказала Жадность.

И Смерть снова рассмеялась и, вложив пальцы в рот, свистнула, и по воздуху прилетела женщина. На лбу у нее было написано: «Чума», и стая тощих хищных птиц кружила вокруг нее. Накрыла она долину своими крыльями, и не осталось там ни одной живой души.

С воплем помчалась Жадность по лесу, а Смерть вскочила на своего красного коня и ускакала прочь, и неслась она быстрее ветра.

И из вязкого ила на дне долины выползли драконы и ужасные твари, покрытые чешуей, и по песку трусцой прибежали шакалы, нюхая ноздрями воздух.

И заплакал юный Король и сказал:

— Кто были эти люди и что они искали?

— Рубины для короны юного Короля, — ответил кто-то у него за спиной.

И юный Король вздрогнул и, обернувшись, увидел человека в облачении паломника, который держал в руке серебряное зеркало.

И он побледнел и сказал:

— Какого короля?

— Посмотри в зеркало, и ты увидишь его, — ответил паломник.

И он посмотрел в зеркало и, увидев собственное лицо, громко вскрикнул и проснулся, — яркий свет струился в комнату, и на ветвях деревьев и на лужайках распевали птицы.

Тут к нему вошли Канцлер и другие государственные мужи и почтительно поклонились ему, и пажи принесли ему златотканую мантию и положили перед ним корону и скипетр.

Поглядел на них юный Король, и были они прекрасны. Прекраснее всего, что он когда-либо видел. Но он вспомнил свои сны и сказал своим вельможам:

— Унесите эти вещи, потому что я не стану их носить.

И придворные удивились, а некоторые из них рассмеялись, так как решили, что он шутит.

Но он сурово заговорил с ними снова и сказал:

— Унесите эти вещи, уберите их с моих глаз. Хотя это и день моей коронации, я не надену их. Ибо на станке Скорби бледными руками Боли была соткана эта мантия. Кровь сокрыта в сердце рубина, и Смерть — в сердце жемчужины.

И он поведал им три своих сна. И, выслушав его, придворные переглянулись и стали шептаться, говоря:

— Он поистине сошел с ума, ибо сон только и есть что сон, а видение — лишь видение и не больше. На самом деле ничего такого не было, и незачем обращать на это внимания. И что нам за дело до жизни тех, кто работает на нас? Что же, человеку и хлеба не есть, покуда он не увидит сеятеля, и вина не пить, покуда не поговорит с виноделом?

И Канцлер заговорил с юным Королем и сказал:

— Повелитель мой, умоляю тебя, оставь свои черные мысли, надень эту дивную мантию и возложи этот венец на свою голову. Ибо как узнают люди, что ты король, если на тебе не будет королевского облачения?

И юный Король посмотрел на него.

— Это действительно так? — спросил он. — Они не узнают, что я король, если на мне не будет королевского облачения?

— Они не узнают тебя, мой повелитель! — воскликнул Канцлер.

— Я думал, что есть люди, которые походят на королей, — ответил он, — но, возможно, все так и есть, как ты говоришь. И все же я не надену этой мантии и не стану венчаться этим венцом, но выйду из дворца в том виде, в каком я пришел сюда.

И он велел всем покинуть его, кроме одного пажы, паренька, который был на год моложе его и которого он оставил при себе ради

общества и за его службу. И когда он омылся чистой водой, он открыл большой расписной сундук и достал из него кожаную куртку и грубый плащ из овечьей шкуры — те, что он носил, когда гонял на склоне холма стадо лохматых коз. Их-то он и надел и взял в руку грубый пастушеский посох.

И, открыв в изумлении голубые глаза, маленький паж спросил его с улыбкой:

— Повелитель мой, я вижу твою мантию и твой скипетр, но где же твоя корона?

И юный Король сорвал ветку шиповника, обвивавшего балкон, согнул ее кольцом и возложил себе на голову.

— Вот что будет мне короной, — ответил он.

И в таком облачении он вышел из своих покоев в Большой зал, где его дожидались вельможи.

И вельможи развеселились, и некоторые из них кричали ему:

— Мой повелитель, люди ждут своего короля, а ты показываешь им нищего!

А другие разгневались и сказали:

— Он позорит наше государство и недостоин быть нашим властелином.

Но он не промолвил в ответ ни единого слова, спустился по лестнице из яркого порфира и вышел через бронзовые ворота, сел на коня и направился к собору; рядом с ним бежал маленький паж.

И люди смеялись и говорили:

— Это едет королевский шут, — и издевались над ним.

И, натянув поводья, он придержал коня и сказал:

— Нет, не шут — Король. — И он поведал им три своих сна.

И вышел из толпы человек, и с горечью заговорил с ним, и сказал:

— Ужели неведомо тебе, господин, что из роскоши богача взрастает жизнь бедняка? Ваша пышность питает нас, и ваши пороки дают нам хлеб. Работать на хозяина несладко, но, когда нет хозяина, на которого можно работать, и того горше. Или ты думаешь, что вороны нас прокормят? И каким снадобьем станешь ты врачевать все это? Велишь ли покупателю: «Купи за столько-то», — и продавцу: «Продай по такой цене»? Едва ли. А посему возвращайся во Дворец и надень свою пурпурную мантию и одежды из тонкого полотна. Что тебе до нас и до наших страданий?

— Разве богатый и бедный — не братья? — спросил юный Король.

— Да, — отвечал человек, — и богатому брату имя — Каин.

И глаза юного Короля наполнились слезами, и он проследовал дальше сквозь ропот толпы, и маленький паж испугался и покинул его.

И когда он достиг главного портала собора, солдаты преградили ему путь своими алебардами и сказали:

— Ты чего тут ищешь? Никто, кроме Короля, не войдет в эти двери.

И лицо его вспыхнуло гневом, и он сказал им:

— Я — ваш Король, — и, отстранив рукой алебарды, вошел в собор.

И, когда старый епископ увидел его в пастушьем наряде, он в изумлении поднялся со своего престола, и пошел навстречу ему, и сказал:

— Это ли облачение Короля, сын мой? И какой короной я увенчаю тебя, и какой скипетр вложу в твою руку? Воистину этот день должен быть для тебя днем радости, а не днем унижения.

— Пристало ли Радости облачаться в то, что сотворено руками Скорби? — сказал юный Король. И он поведал ему три своих сна.

И, когда епископ выслушал их, он нахмурился и сказал:

— Сын мой, я стар и на закате дней моих знаю, что немало зла творится на белом свете. Беспощадные разбойники спускаются с гор и похищают малых детей и продают их маврам. Львы лежат, поджидая караваны, и нападают на верблюдов. Дикий вепрь уничтожает посевы в долине, а лисы подгрызают лозы в винограднике на холме. Пираты разоряют побережье, сжигают суда рыбаков и отнимают у них сети. В засоленных низинах, в хижинах из плетеного тростника живут прокаженные, и никто не смеет подойти близко к ним. Нищие бродят по городам и едят одну пищу с собаками. В твоих ли силах искоренить это? Положишь ли ты прокаженного с собой в постель и посадишь ли нищего за свой стол? Станет ли лев выполнять твои приказания и дикий вепрь повиноваться тебе? И не мудрее ли тебя Тот, кто создал страдание? Оттого я не восхваляю тебя за содеянное тобою, но повелеваю тебе возвратиться во Дворец и, оставив печаль, надеть облачение, какое пристало Королю, и я увенчаю тебя золотой короной и вложу тебе в руки жемчужный скипетр. А что до твоих снов, не думай о них более. Бремя мира сего слишком тяжело, и его не снести одному человеку, и мировая скорбь слишком велика, и ее не выстрадать одному сердцу.

— И ты говоришь это в этом доме? — сказал юный Король и, пройдя мимо епископа, поднялся по ступеням алтаря и остановился пред образом Христа.

Он стоял перед образом Христа, а справа и слева от него помещались дивные золотые сосуды: кубок с желтым вином и потир с елеем. Он преклонил колена перед образом Христа, и ярко вспыхнули огромные свечи перед усыпанной драгоценностями святыней, и тонкими голубыми колечками заструился к куполу дым от ладана. Он склонил голову в молитве, и священники в негнущихся рясах, крадучись, удалились из алтаря.

И вдруг снаружи донесся страшный шум, и в храм, обнажив мечи, вошли вельможи с развевающимися плюмажами и щитами из блестящей стали.

— Где этот сновидец, видящий сны? — кричали они. — Где этот Король, что обрядился, точно нищий, этот мальчишка, что позорит наше государство? Право же, мы убьем его, потому что он недостойн властвовать над нами.

И юный Король вновь склонил голову и сотворил молитву, и, окончив молитву, он поднялся и, обернувшись, посмотрел на них с грустью.

И — о чудо! — сквозь витражи устремился на него солнечный свет, и солнечные лучи соткали вокруг него мантию прекраснее той, что изготовили по его велению. Мертвый посох расцвел и покрылся лилиями белее жемчужин. Сухая ветка в шипах расцвела и покрылась розами краснее рубинов. Белее дивных жемчужин были лилии, и их стебли мерцали серебром. Краснее редчайших рубинов были розы, и листья их были из чеканного золота.

Он стоял там в королевском облачении, и покрытые драгоценностями створки святыни отворились, и кристалл в лучистой дароносице воссиял чудесным таинственным светом. Он стоял там в королевском облачении, и божественное сияние наполнило храм, и казалось, будто святые движутся в своих каменных нишах. В прекрасном королевском облачении он стоял перед ними, и гремели раскаты органа, и трубачи трубили в трубы, и пели мальчики в хоре.

И люди в благоговении упали на колени, и вельможи вложили в ножны свои мечи и воздали ему почести, и лицо епископа побледнело, и руки его задрожали.

— Тебя короновал Тот, кто могущественнее меня! — воскликнул он и опустился перед ним на колени.

И юный Король спустился с высокого алтаря и направился во Дворец сквозь толпу людей. Но ни один не осмелился взглянуть на его лицо, потому что оно было подобно лику ангела.

ПЬЕСЫ





Герцогиня Падуанская

Драма в пяти действиях в стихах

ЛИЦА ДРАМЫ

Симоне Джессо, герцог Падуанский.

Беатриче, его жена.

Андреа Полайоло, кардинал Падуанский.

Маффио Петруччи

Джеппо Вителлоццо

Тадео Барди

} придворные герцога.

Гвидо Ферранти, молодой человек.

Асканио Кристофано, его друг.

Граф Моранцоне, пожилой человек.

Бернардо Кавальканти, верховный судья в Падуе.

Уго, палач.

Лючия, девушка при герцогине.

Слуги, горожане, солдаты, монахи, сокольничие с их соколами и собаками и т. п.

Место действия — Падуя.

Время действия — вторая половина XVI века.

СЦЕНЫ ДРАМЫ

Действие первое — рынок в Падуе (25 минут).

Действие второе — комната в герцогском дворце (36 минут).

Действие третье — галерея в герцогском дворце (29 минут).

Действие четвертое — зал суда (31 минута).

Действие пятое — темница (25 минут).

Стиль архитектуры: итальянский, готический и романский.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Рынок в Падуе, в полдень; в глубине — большой собор Падуи; архитектура романского стиля, строен из черного и белого мрамора; мраморные ступени ведут к дверям собора; у подножия лестницы два громадных каменных льва; дома по обеим сторонам сцены окружены каменными аркадами и с цветными жалюзи у окон; на правой стороне сцены — общественный фонтан со статуей, из зеленой бронзы, тритона, трубящего в раковину; вокруг фонтана — каменная скамья; звонит колокол собора, и горожане — мужчины, женщины и дети — проходят в собор. Входят Гвидо Ферранти и Асканио Кристофано.

Асканио

Ну, жизнью клянусь, Гвидо, дальше я не пойду; если я ступлю еще шаг, то духу во мне не останется для проклятий; мы летим, словно дикие гуси! *(Бросается на скамью у фонтана.)*

Гвидо

Это, должно быть, здесь. *(Направляется к одному из прохожих и снимает шапочку.)* Простите, синьор, ведь это рыночная площадь, а это — церковь Санта-Кроче?

Прохожий кивает утвердительно.

Благодарю вас, синьор.

Асканио

Ну?

Гвидо

Так! Это здесь.

Асканио

Я бы предпочел, чтобы это было где-нибудь в другом месте, так как здесь я не вижу таверны.

Гвидо *(вынимая из кармана письмо и читая его)*

«Час — полдень; город — Падуя; место — рынок; а день — день святого Филиппо».

Асканио

А что до человека, как мы его узнаем?

Гвидо *(все читая)*

«На мне будет лиловый плащ с вышитым на плече серебряным соколом». Красивое одеяние, Асканио?

Асканио

Мне милее мой кожаный камзол. И ты думаешь, он расскажет тебе о твоём отце?

Г в и д о

Конечно, да! Ты припомни, тому теперь ровно месяц, когда был я в нашем винограднике, как раз в том углу, что подходит к улице и куда обыкновенно заходят козы, — проехал мимо меня какой-то человек, спросил, меня ли зовут Гвидо, и отдал мне это письмо, подписанное: «Друг вашего отца», приглашающее меня быть здесь сегодня, если я хочу узнать тайну своего рождения, и указывающее мне, как признать написавшего. Я всегда думал, что это неверно, но что ребенком меня отдал ему на попечение какой-то неизвестный, которого он более не видал никогда.

А с к а н и о

Так что ты не знаешь, кто твой отец?

Г в и д о

Нет.

А с к а н и о

У тебя нет даже никакого воспоминания о нем?

Г в и д о

Никакого, Асканио, никакого.

А с к а н и о *(смеясь)*

Стало быть, не мог он тебе давать затрещин так часто, как мой отец мне.

Г в и д о *(улыбаясь)*

Я уверен, что ты их никогда не заслуживал.

А с к а н и о

Никогда; это-то и было в них хуже всего. Ни разу не мог я найти в себе сознания вины... А какой час назначил тот?

Г в и д о

Полдень.

Часы на соборе бьют.

А с к а н и о

Теперь как раз полдень, а твой человек не пришел. Я в него не верю, Гвидо. Должно быть, просто какая-нибудь девица загляделась на тебя; и, раз я проводил тебя из Перуджи в Падуо, ты обязан, клянусь в этом, проводить меня в ближайшую таверну. *(Встает.)* Призываю во свидетели великие божества еды, я так хочу есть,

Гвидо, как вдове хочется мужа, так устал, как молодая девушка от добрых советов, и весь высох, словно монашеская проповедь. Идем, Гвидо, что тебе стоять здесь, глядя в пустоту, словно помещанному, который старается заглянуть в свою собственную душу; твой человек не придет.

Г в и д о

Хорошо; кажется, ты прав. А!

В тот самый миг, когда он встает со скамьи вместе с Асканио, — входит граф Моранцоне в лиловом плаще, с серебряным соколом, вышитым на плаще; Моранцоне проходит через всю сцену, направляясь к собору, и в ту минуту, когда он готов войти в него, Гвидо сбегает по ступеням и прикасается к нему.

М о р а н ц о н е

Ты вовремя пришел, Ферранти Гвидо.

Г в и д о

Как! Так отец мой жив?

М о р а н ц о н е

Да, жив в тебе.

Ты — он своим лицом, своей походкой,
Осанкой, видом, внешностью своей;
Ты, верно, он и духом благородным.

Г в и д о

О, расскажите об отце; я этой
Минуты ждал всю жизнь.

М о р а н ц о н е

Нам должно быть

Одним.

Г в и д о

Но это лучший друг мой: он
Пришел со мною из любви ко мне;
Мы, как два брата, делим с ним все тайны.

М о р а н ц о н е

Вы этой тайны не должны делить;
Пусть он уйдет.

Г в и д о (к Асканио)

Друг, через час вернись.
Не знает он, что зеркала любви

Такой, как наша, омрачить не может
Ничто. Пока прощай.

Асканио

Не говори с ним,
Есть что-то страшное в его глазах.

Гвидо *(смеясь)*

Нет, я уверен: он пришел сказать мне,
Что я Италии великий принц,
Что нас обоих дни веселья ждут
Надолго! До свиданья, друг.

Асканио уходит.

Теперь

Вы про отца расскажете мне все?

(Садится на каменную скамью.)

Он был высок? в седле сидел он стройно?
Он черен был? иль волосы его
Как красно-золотое пламя были?
Имел он голос тихий? Иногда
У первых храбрецов бывает голос
Исполнен тихой музыки; иль, может,
Он, как труба, гремел, внушая ужас
Врагам? Он выезжал один? иль вместе
С толпою слуг, в сопровожденье свиты?
Порой я чувствую, что в этих жилах
Кровь королей стучит! Он был король?

Моранцоне

Он больше был король, чем все другие.

Гвидо *(гордо)*

Итак, отца вы видели последний.
Что ж, над людьми высоко он стоял?

Моранцоне

Да, над людьми высоко он стоял

(подходит к Гвидо и кладет свою руку ему на плечо)

На красном эшафоте, где палач
Ждал с топором его.

Г в и д о *(вскакивая)*

Кто ты, ужасный,
Как некий ворон иль как филин ночи,
Восставший из могилы с страшной вестью?

М о р а н ц о н е

Меня зовут здесь графом Моранцоне,
Владельцем замка на пустой скале;
Есть у меня миль пять земли бесплодной
И нищих шесть служителей. Но был я
Из самых знатных в Парме; больше: были
Друзьями мы с твоим отцом.

Г в и д о *(схватывая его за руку)*

Скажите

Все!

М о р а н ц о н е

Герцога великого Лоренцо
Ты сын. Он властелином в Парме был
И графом всей Ломбардии прекрасной
До самых стен Флоренции, но та
Ему платила дань.

Г в и д о

А как он умер?

М о р а н ц о н е

Узнаешь все. То было в дни войны.
(О благородный лев! Не мог снести
В Италии он никакой неправды!)
Цвет лучший рыцарства повел он против
Клятвопреступника из Римини,
Джованни Малатесты — будь он проклят! —
Но был коварно завлечен в засаду
И, как злодей, как человек безродный,
Казнен на эшафоте всенародно.

Г в и д о *(хватаясь за кинжал)*

И Малатеста жив?

М о р а н ц о н е

Он умер.

Г в и д о

Умер?

О, если б ты, не медлящая смерть,
Могла еще немного подождать,
Твой долг свершил бы я!

М о р а н ц о н е

Еще не поздно!

Тот, кем отец твой продан, жив еще.

Г в и д о

Отец был продан?

М о р а н ц о н е

Оценен, как вещь,
И за назначенную цену продан.
На вольном рынке был уступлен он
Тем, кто его считался лучшим другом,
Кому он верил и кого любил,
С кем братства узами был долго связан.

Г в и д о

Предатель жив!

М о р а н ц о н е

Его ты сам увидишь.

Г в и д о

Так жив Иуда! Хорошо же! Всю землю
Я сделаю «землею крови», ибо
На ней висеть он должен!

М о р а н ц о н е

Ты Иудой

Его зовешь? Да, как Иуда, он
Предатель, — но иной он ждал награды:
Не тридцать сребреников, много больше!

Г в и д о

За кровь отца что ж получил он?

М о р а н ц о н е

Много...

Поместья, виноградники и замки,
И княжества, и земли...

Г в и д о

От которых

Он сохранит шесть локтей — для могилы!
Где ж гнусный шут? Где негодяй проклятый?
Скажите, где он? Пусть он будет в панцирь
Одет, и в сталь до самых пят закован,
И охраняем тысячью людей, —
Я поражу его сквозь копья, буду
Смотреть, как потечет вдоль по кинжалу
Кровь черная его. Скажите, где он, —
И я его убью.

М о р а н ц о н е *(холодно)*

И это месть?

Безумец! Смерть не суждена ль нам всем?
И тем она желанней, чем внезапней.

(Подступает ближе к Гвидо.)

Был предан твой отец, — и в этом все.
Предателя предай же в свой черед.
Тебя введу я в дом его, ты должен
Сидеть с ним за столом, есть тот же хлеб...

Г в и д о

О, горький хлеб!

М о р а н ц о н е

Ты слишком прихотлив:

Мечь подсластит его! Ты должен ночи
С ним пировать, пить из единой чаши,
Его стать другом, чтоб тебя любил он
И тайны все свои открыл тебе!
Захочет он веселья — будь веселым;
Его порой охватит ли печаль —
Будь грустен сам. Когда ж приспее время...

Гвидо хватается за кинжал.

Ах, я тебе не верю! Юн твой дух
И необуздан; слишком буйный гнев
Не в силах ждать, во имя высшей мести,
Но в страсти гибнет...

Г в и д о

Ты меня не знаешь.

Скажи, кто он, — и я готов во всем
Повиноваться.

М о р а н ц о н е

Хорошо. Когда

Приспееет время и удобный случай,
И будет враг в сетях, тебе с послем
Подам я знак.

Г в и д о

И как его убью я?

М о р а н ц о н е

В ту ночь к нему прокрасться должно в спальню;
И если ты его застанешь спящим,
Сначала разбудить; потом за горло
Рукой схватить — да, так — и рассказать,
Кто ты, чей сын, за что ты мстишь ему.
Дозволь ему просить пощады, пусть
За жизнь свою он предлагает цену;
Когда ж он обещает все богатства —
Скажи, что золота тебе не надо
И что пощады нет! И соверши все.
Но поклянись, что не убьешь ты раньше,
Чем прикажу я! Или я уйду,
Ты будешь жить в неведеньи, как прежде,
И твой отец не будет отомщен!

Г в и д о

Отца мечом клянусь!

М о р а н ц о н е

Палач на рынке

Его пред всем народом преломил.

Г в и д о

Отца могилой...

М о р а н ц о н е

Где его могила?

Отец твой не лежит в земле; развеян
Был прах его по ветру, и разнесся

По улицам он пылью, беднякам
Слепя глаза... А голову его,
Одев на острие ворот тюремных,
Оставили на поруганье черни,
И та его дразнила языком...

Г в и д о

Так чем же клясться? Памятью отца,
Священной мне, его позорной казнью,
Предательством коварным друга, всем,
Что мне еще осталось, — я клянусь:
Не подыму я на него руки
До приказанья; после — бог да примет
Проклятый дух: как пес, убит он будет.
Но знак? Какой же знак?

М о р а н ц о н е

Вот — твоего

Отца кинжал.

Г в и д о

О, дайте рассмотреть мне!

Припоминаю, дядя мой названный,
Старик, которому я отдан был,
Мне говорил, что был я в плащ завернут,
И были вышиты два леопарда
На нем по золоту — такие ж точно!
Но, вылиты из стали, мне милее
Вот эти: с ними к цели путь прямее!..
Отец вам ничего не поручил
Мне передать?

М о р а н ц о н е

Отец не знал тебя.

Когда он предан был коварным другом,
Из приближенных всех один я спасся
И в Парму, герцогине, весть принес.

Г в и д о

О мать моя! Скажите мне об ней!

М о р а н ц о н е

Услышав роковую весть, она
Без чувств упала и тебя — до срока —

На свет произвела, и вслед затем
Ее душа взнеслась на небеса,
Чтоб встретить мужа у предверья рая.

Г в и д о

Мать умерла, отец казнен и продан...
Мне кажется: я осажден врагами,
И за гонцом гонец приносят вести,
Одна другой ужасней! Дай вздохнуть мне,
Я изнемог.

М о р а н ц о н е

Когда скончалась мать,
Из страха пред врагами всем сказал я,
Что умер ты, и тайно передал
Тебя старинному слуге, который
Жил близ Перуджии. Что было дальше,
Ты знаешь.

Г в и д о

Видели отца вы после?

М о р а н ц о н е

Однажды. Я в одежде бедняка
Пробрался в Римини.

Г в и д о (*беря его за руку*)

Какая смелость!

М о р а н ц о н е

Все продается в Римини, и я
Купил тюремщиков. Когда отец твой
Узнал, что у него родился сын,
Его лицо под шлемом просияло,
Как светит в море зарево огня.
Взяв за руки меня, меня просил он,
Чтоб я тебя взрастил его достойным,
И мстителя в тебе я воспитал.

Г в и д о

Вы долг исполнили. Благодарю вас
От имени отца. Но как же имя
Предателя?

Моранцоне

Как на отца похож ты!

Я узнаю в тебе его движенья.

Гвидо

Как имя?

Моранцоне

Ты его сейчас узнаешь.

Вот герцог наш со свитой придворных

Сюда идет.

Гвидо

Что из того! Как имя?

Моранцоне

Не кажутся ль они тебе собранием

Людей достойных, честных, благородных?

Гвидо

Граф! Имя! Имя!

Входят герцог Падуанский с графом Барди, Маффио с Петруччи
и другими придворными.

Моранцоне *(быстро)*

Тот, пред кем колени

Я преклоню, и есть убийца, — помни.

Гвидо *(хватается за кинжал)*

Как, герцог?

Моранцоне

Руку прочь! Ужель так скоро

Ты все забыл?

(Преклоняется перед герцогом.)

Наш благородный герцог!

Герцог

Добро пожаловать, граф Моранцоне.

Давно мы в Падуе вас не видали.

Близ замка вашего еще вчера мы

Охотились, но называть ли замком

Холодный дом, где вы живете, четки
Перебирая, как отшельник дряхлый.
(*Встречает глазами Гвидо и отступает назад.*)

Кто это?

Моранцоне

Мой племянник, ваша светлость.
Он в тех годах, когда пора на службу,
И быть желал бы при дворе у вас.

Герцог (*молча глядит на Гвидо*)
Его зовут?

Моранцоне

Ферранти Гвидо.

Герцог

Родом?

Моранцоне

Он в Мантуе родился, ваша светлость.

Герцог (*подходя к Гвидо*)

Твой взор напоминает мне кого-то,
Кого я знал... Но умер тот бездетным.
Ты честен ли? И если да, то честность
Не расточай, но для себя храни.
Здесь в Падуе все думают, что честность —
Лишь хвастовство; она не в моде. Видишь
Синьоров этих?

Барди (*в сторону*)

В нас стрелой он метит.

Герцог

Любой из них свою имеет цену,
Все продаются, но, сказать по правде,
Иные слишком дорожатся.

Барди (*в сторону*)

Мило!

Герцог

Итак: нам честности не надо. Также
Не очень любим мы оригинальность,

Хотя в наш глупый век едва ль не тот
Оригинальней всех, кто смеет мыслить
И возбуждает тем насмешки черни.
А что до черни, презирай ее,
Как я. Толпы восторг минутный мне
Смешон, и одного лишь оскорбленья
Я не испытывал: любви народа.

Мафио (*в сторону*)

А ненависти вдоволь испытал ты.

Герцог

Благоразумен будь; не торопись
С поступками: подумав дважды, действуй;
Решенье первое всегда прекрасно.

Гвидо (*в сторону*)

Из уст его не жаба ль брызжет ядом!

Герцог

И постарайся завести врагов:
Иначе свет тебя сочтет ничтожным.
Враги доказывают нашу силу,
Но в маске дружбы каждого встречай,
Пока его в свои не схватишь когти:
Тогда души его.

Гвидо (*в сторону*)

Философ мудрый!

Не для себя ли роешь ты могилу?

Моранцоне (*к Гвидо*)

Запомнил?

Гвидо

Будь спокоен.

Герцог

И не будь

Разборчив слишком. Чистая рука,
Когда пуста, имеет вид печальный.
И если хочешь львиной доли в жизни,
Оденься в лисью шкуру — подойдет
Она тебе, как всякому подходит.

Г в и д о

Я все запомню, ваша светлость.

Г е р ц о г

Дельно.

Я не хочу быть окружен глупцами,
Что жизни золото долями весят,
Дрожат, колеблются — и все же терпят
Лишь неудачи... Неудача — вот
Единый грех, я в коем неповинен!
Вокруг меня мужчины быть должны.
А что до совести, то это — слово,
Что трусость написала на щите,
Бежав из битвы. Понял?

Г в и д о

Ваша светлость,

Я понял все и заповедям вашим
Отныне буду следовать во всем.

М а ф и о

Не знал я, ваша светлость, что так сильны
Вы в деле проповеди. Ах, когда бы
Взглянул на ваши лавры кардинал!

Г е р ц о г

За мной пойдут мужчины, а другие —
За кардиналом. Что мне до него!
Он ревностный служитель церкви,
Но человек не слишком прозорливый.

(К Гвидо.)

Итак, отныне на моей ты службе.

(Протягивает Гвидо руку для поцелуя.)

Гвидо отступает в ужасе, но по знаку графа Моранцоне опускается на колени и целует ее.

Ты должен быть одет, как подобает
И должности твоей и нашей чести.

Г в и д о

Благодарю сердечно вашу светлость.

Герцог

Тебя зовут, не правда ль, Гвидо?

Гвидо

Гвидо

Ферранти, государь.

Герцог

И родом ты
Из Мантуи? За женами, синьоры,
Смотрите в оба: он для них опасен!
Смеетесь вы, граф Барди? Впрочем, тот
Супруг спокоен, чья жена
Нехороша.

Мафио

Простите, ваша светлость,
Но жены в Падуе вне подозрений.

Герцог

Как? Все неинтересны?.. Но пойдете.
Сегодня герцогиню кардинал
Совсем замучил. Надо бы ему
И бороду и проповедь убавить.
Угодно, граф, вам с нами слушать текст
Святого Иеронима?

Моранцоне *(кланяясь)*

Государь,

Простите...

Герцог *(прерывая)*

Что за извиненья, если
Идти к обедне лень. Пора, синьоры.

(Уходит со свитой в собор.)

Гвидо *(после молчания)*

Он продал моего отца; я — руку
Его поцеловал.

Моранцоне

Целуй почаще.

Гвидо

Я должен это делать?

Моранцоне

Ты поклялся.

Гвидо

От этой клятвы я окаменею.

Моранцоне

Прощай, дитя! И раньше срока мы
Не встретимся.

Гвидо

Вернитесь поскорее.

Моранцоне

Вернусь, когда настанет час. Будь твердым.

Гвидо

Доверьтесь мне.

Моранцоне

Твой друг идет сюда.

Из сердца и из Падуи его

Ты должен удалить.

Гвидо

Отсюда — да.

Из сердца — нет.

Моранцоне

Нет, нет! Из сердца также.

Я не уйду, пока все не исполнишь.

Гвидо

Нельзя иметь мне друга?

Моранцоне

Мечь — твой друг,

Иных не ведай.

Гвидо

Пусть! Да будет так.

Входит Асканио Кристофано.

А с к а н и о

Ну, Гвидо, я, наверно, во всем превзошел тебя: я выпил фьяску доброго вина, съел пирог и расцеловал служанку в остерии. Что ты глядишь так уныло, словно школьник, которому не на что купить яблок, или как избиратель, которому некому продать свой голос? Что же нового, Гвидо, что нового?

Г в и д о

Асканио, нам должно распротиться.

А с к а н и о

Конечно, это ново, но неправда.

Г в и д о

Нет, слишком правда! Ты уйдешь отсюда,
И никогда меня ты не увидишь.

А с к а н и о

Нет! Значит, ты меня не знаешь, Гвидо!
Да, я простого земледельца сын,
Обычаев придворных я не знаю.
Но если оказалось, что ты знатен,
Ужель я не могу служить тебе?
Клянусь, усердней буду я, чем всякий,
Слуга наемный...

Г в и д о *(хватая его за руку)*

Ах, Асканио!

(Взглядывает на Моранцоне, который смотрит на него, и выпускает руку Асканио.)

Нет! Этого не может быть.

А с к а н и о

Не может?

Я думал, что веков прошедших дружба
Еще жива, что в наш ничтожный век
Своей любовью воскресили мы
Преданья Рима древнего... О! этой
Любовью, ясно, словно море летом,
Молю я: что б тебя ни ждало — все
Позволь с тобой мне разделить, как другу!

Г в и д о

Все разделить!

А с к а н и о

Да, да!

Г в и д о

Нет, нет!

А с к а н и о

Ах, верно,
Наследство получил ты — пышный замок,
Богатство?

Г в и д о (*горько*)

Да, я получил наследство!
Кровавый дар! Ужасное наследье!
Беречь его я должен, как скупец,
Для самого себя хранить. Итак,
Расстанемся, прошу тебя.

А с к а н и о

Ужели

Мы больше никогда рука с рукой
Не сядем рядом, как сидели часто,
Чтоб углубиться в рыцарскую книгу?
Иль, как бывало, убежав из школы,
Ужель мы вместе больше никогда
Бродить не будем по лесам осенним
С охотником, следя, как ястреб зоркий
Рвет шелковые пути, на опушке
Завидя зайца?

Г в и д о

Больше никогда.

А с к а н и о

Так должен я уйти без слова дружбы?

Г в и д о

Так ты уйдешь — с тобой моя любовь...

А с к а н и о

Не рыцарски, не благородно это!

Г в и д о

Не рыцарски, не благородно? Пусть!
Уже бесплодны все слова. Прощай.

А с к а н и о

Ты ничего мне не поручишь, Гвидо?

Г в и д о

Нет! Прошлое — как детский сон за мною.
Я нынче начинаю жизнь. Прощай.

А с к а н и о

Прощай.

(Уходит медленно.)

Г в и д о *(к Моранцоне)*

Довольны вы? Я все исполнил.
Любимейшего друга я сейчас
Прогнал, как недостойного слугу.
Я это сделал! Вы теперь довольны?

М о р а н ц о н е

Да. Я доволен и теперь уйду.
Не позабудь про знак: кинжал отца.
Сверши свой долг, когда его пришлю я.

Г в и д о

Доверьтесь мне; исполню все.

Моранцоне уходит.

О небо!

Когда в душе моей есть капля чувства,
Есть сострадание, есть нежность — их
Убей, сожги и обрати в ничто!
А если ты не хочешь, сам их вырву
Из сердца я отточенным ножом,
Во сне я жалость задушу в себе,
Чтоб не шептала мне она! О месть,
Ты мне одна осталась. Будь мне другом
И ложе разделяй со мною. Рядом
Сиди со мной, сопутствуй на охоте,

Когда устану, песенки мне пой,
Когда я буду счастлив, веселись,
Когда усну, нашептывай мне в уши
Рассказ ужасный об отца убийстве...
Убийстве, я сказал?

(Обнажает кинжал.)

Внемли, бог мести,
Клятвопреступников разящий громом!
Пусть эту клятву пламенем на небе
Запишут ангелы! Клянусь: отныне,
Пока не отомщу отца убийство
Я кровью, — отрекаюсь я от дружбы,
От благородных радостей любви,
От всякого сочувствия и союза!
И даже больше: отрекаюсь я
От женщин, от любви к ним, от приманок
Их красоты...

Торжественные звуки органа несутся из собора, и под сребротканым балдахином, что несут четыре пажа, одетые в алое, сходит по мраморным ступеням Герцогиня Падуанская; она проходит перед Гвидо, на мгновение встречается с ним глазами и, уже почти покидая сцену, обернувшись, взглядывает на него; кинжал падает из рук Гвидо.

Гвидо

Кто это?

Один из горожан

Герцогиня.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Зал в герцогском дворце, убранный коврами, на которых вышиты сцены переодеваний Венеры; широкая дверь в середине ведет на галерею из красного мрамора, через которую открывается вид на Падую; большой балдахин (справа) с тремя тронами, из которых один несколько ниже других; потолок из позолоченных балок; обстановка того времени — стулья, обтянутые кожей с позолотой, поставцы с золотой и серебряной посудой, ларцы, расписанные мифологическими сценами. Несколько придворных стоят в галерее и смотрят на нее вниз, на улицу; с улицы доносится гул толпы и крики: «Смерть герцогу!»; несколько времени спустя входит Герцог Падуанский, совершенно спокойный; он опирается на руку Гвидо Ферранти; вместе с ними входит кардинал; толпа продолжает кричать.

Герцог

Нет, кардинал, я от нее устал!
Она не то что некрасива, хуже —
Она добра!

Мафио (*возбужденно*)

Там, ваша светлость, больше
Двух тысяч человек, и с каждым мигом
Кричат сильней.

Герцог

Что ж, пусть их тратят силы.
Толпа кричащая — ничто, синьоры,
И если кто опасен — молчаливый.

Рев народа.

Вот, кардинал, как я любим народом.

Снова рев.

Иди, Петруччи, прикажи внизу
Начальнику стрелков очистить площадь.
Вы приказанье слышали, синьор?
Что сказано, исполнить.

Петруччи уходит.

Кардинал

Вашу милость
Прошу я выслушать мольбы народа...

Герцог (*садится на свой трон*)

Да, груши этим летом что-то мельче,
Чем были прошлым. Кардинал, простите,
Вы, кажется, о грушах говорили.

Слышны с улицы крики радости.

Что там?

Гвидо (*бросается к окну*)

На площадь герцогиня вышла,
Между народом и стрелками стала,
Им не дает стрелять.

Герцог

Черт побери!

Гвидо *(все еще у окна)*

Теперь идет сюда с толпою граждан.

Герцог *(вскакивая)*

Клянусь святым Джованни, слишком смело
Она себя ведет.

Барди

Вот герцогиня.

Герцог

Закройте дверь; сегодня день холодный.

Дверь, ведущую в галерею, закрывают. Входит Герцогиня с кучкой бедно одетых горожан.

Герцогиня *(бросается на колени)*

Нас выслушать молю я, ваша светлость!

Герцог

Чего ж они хотят?

Герцогиня

О государь!

Они того хотят, о чем ни разу

Ни вам, ни мне и никому из этих

Синьоров думать не случилось: хлеба!

Они готовят из гнилой мякины

Свой хлеб!

Первый горожанин

Да, верно! Из одной мякины!

Герцог

Хороший корм; я лошадям своим

Даю его.

Герцогиня *(сдерживаясь)*

По их словам, в цистернах —

Водопровод, вы знаете, разрушен —

Вода цветет и затянулась тиной.

Герцог

Так надо пить вино: вода вредна!

Второй горожанин

Ах, ваша светлость, пошлины да сборы
У городских ворот берут такие,
Что покупать вино нам не под силу.

Герцог

Благословляйте пошлины — они
Вас учат воздержанью.

Герцогиня

Государь,
Подумайте, мы в роскоши живем,
А в темных переулках нищета
Голодная блуждает и ножом
Малюткам перерезывает молча
Их горло теплое...

Третий горожанин

Да, это правда!
От голода вчерашней ночью помер
Сынишка мой — был по шестому году, —
И схоронить-то не на что его.

Герцог

Вы бедны? Славьте же судьбу! Ведь бедность
Одна из добродетелей.

(К кардиналу.)

Не так ли?

Вы, монсиньор, берете десятину,
Имеете доходы, замки, земли
За то, что проповедуете бедность.

Герцогиня

О государь, но будьте милосерды!
Пока сидим мы здесь в чертогах этих,
Где портики от зноя защищают,
А от морозов — стены, двери, крыша, —
Как много граждан Падуи живет

В лачугах со щелями, где всегда
Холодный дождь, и снег, и ветер — дома!
Иные же ночуют под мостами,
Осенней ночью в сырости дрожат,
Потом приходит лихорадка, и...

Герцог *(заканчивает)*

Возносятся на лоно Авраама.
Они меня должны благодарить:
Из мира бедствий шлю я их на небо!

(К кардиналу.)

Не сказано ль в писании, что должно
Нам бремя наше с радостью нести?
Мне ль изменять уставленное богом
И вмешиваться в волю провиденья?
Одни пресыщены, те голодают.
Так создан мир, и создан он не мною.

Первый горожанин

В нем милости не видно.

Второй горожанин

Помолчи!

Вот кардинал за нас поговорит.

Кардинал

Терпеть нужду — христианина долг,
Но также долг его быть милосердным!
Есть в нашем городе немало бедствий,
Их реформировать могли бы вы.

Первый горожанин

Что значит — реформировать?

Второй горожанин

Должно быть,

Оставить все, как есть оно теперь.

Герцог

Да? Реформировать? Ах, кардинал,
В Германии нашелся некто Лютер
И реформировать задумал церковь —

Не вы ль его еретиком назвали
И отлученью предали?

Кардинал *(подымаясь с своего трона)*

Хотел

Он паству с пастбища увлечь, а мы
Вас просим накормить овец духовных.

Герцог

Я тех кормлю, с кого стригу я шерсть.
Что до мятежников...

Герцогиня делает умоляющий жест.

Первый горожанин

Он стал добрее

И даст нам что-нибудь.

Второй горожанин

Ах, так ли?

Герцог

Эти

Оборвыши сюда явились с глоткой,
Наполненной изменой...

Третий горожанин

Ваша светлость!

Заткните нам ее краюхой хлеба!

Мы замолчим.

Герцог

Я вас молчать заставлю —

Голодных или сытых, все равно!

Таков наш век, синьоры, что мужик

Перед тобой не снимет шапки: надо

Ее сбивать с башки! На перекрестках

Любой ремесленник господ поносит!

(К горожанам.)

Ввиду молений нашей герцогини,

Не смея отказать прекрасной даме,

Что оскорбило б вежливость и нашу

Любовь, и снисходя на ваши просьбы...

Первый горожанин
Он сбавит пошрины, честное слово!

Второй горожанин
Иль выдаст каждому из нас по хлебу.

Герцог
...Я прикажу, чтоб в это воскресенье
На проповеди кардинал сказал
Вам о высоком долге послушанья.

Ропот среди горожан.

Первый горожанин
Ну, проповедью брюха не наполнишь.

Второй горожанин
Она не больше, как подливка, что же
Мы с нею будем есть?

Герцогиня
Друзья мои.
Вы видите: пред герцогом и я
Бессильна. Но на задний двор пройдите,
Я прикажу, чтоб казначей мой выдал
Из личных средств моих вам сто дукатов.

Первый горожанин
Бог да хранит нам герцогиню!

Второй горожанин
Верно!
Бог да хранит ее!

Герцогиня
И раз в неделю
Я буду раздавать беднейшим хлеб.

Изявляя свою радость, горожане идут к выходу.

Первый горожанин *(уходя)*
Бог да хранит нам герцогиню.

Герцог *(подзывает его)*
Сюда, приятель. Как тебя зовут?

Горожанин

Я, ваша светлость, Доменико.

Герцог

Имя

Хорошее. А в честь кого дано?

Горожанин (*почесывая голову*)

Да я родился в день святого Джордже.

Герцог

Вполне понятно! Вот тебе дукат.

Что ж не кричишь: да здравствует наш герцог?

Горожанин (*слабо*)

Да здравствует наш герцог!

Герцог

Громче! Громче!

Горожанин (*немного громче*)

Да здравствует наш герцог!

Герцог

Чувства мало.

Кричи сильнее, приятель. Вот еще

Тебе дукат.

Горожанин (*восторженно*)

Да здравствует наш герцог!

Герцог (*насмешливо*)

Как трогает меня его любовь,

Синьоры!

(*Горожанину, гневно.*)

Вон!

Горожанин уходит, кланяясь.

Таким путем, синьоры,

Любовь народа приобрести легко.

О, мы — ничто, когда народу чужды!

(*К герцогине.*)

А вы, синьора, сеете мятеж

Меж граждан!

Герцогиня

Государь, есть право бедных:
На жалость и на милость нашу право.

Герцог

Вы спорите со мной? Вот какова
Та женщина, из-за которой лучших
Три города Италии я отдал:
Орвьетто, Геную и Пизу.

Герцогиня

Вы

Не отдали, а только обещали —
И предпочли опять нарушить слово.

Герцог

Вы ошибаетесь, синьора, были
На то причины важные.

Герцогиня

Какие

Причины могут быть, чтоб обещанье,
Пред целым миром данное, нарушить?

Герцог

Есть много кабанов в лесу под Пизой;
Когда я этот город обещал
Достойнейшему вашему отцу,
Я позабыл, что там охота. Также
Я слышал — и не сомневаюсь в том, —
Что в гавани под Генуей так много
Редчайших рыб, как более нигде.

(Обращаясь к одному из придворных.)

Вы блюд изысканных знаток, синьор,
И это объясните герцогине.

Герцогиня

Так, а Орвьетто?

Герцог *(зевая)*

Я уже не помню.
Должно быть, тоже что-то помешало

Отдать его согласно договору.
Быть может, просто не хотелось мне.

(Подходит к герцогине.)

Синьора, бросьте взгляд: вы здесь одни!
До старой Франции немало миль,
Да и отец ваш при своем дворе
Не больше сотни рыцарей содержит,
На что же вы надеетесь? Кто здесь
Из этих всех синьоров предан вам?

Герцогиня

Никто.

Гвидо вздрагивает, но овладевает собой.

Герцог

И так останется, пока
Я герцог в Падуе. Синьора, вы
Принадлежите мне. Что я хочу,
Должны вы исполнять. Угодно мне,
Чтоб вы сидели дома, — и дворец
Для вас тюрьмою станет. Захочу я,
Чтоб вы гуляли, и с утра до ночи
Придется вам гулять.

Герцогиня

Но где же право?

Герцог

Покойная жена вопрос такой же
Мне предложила. Памятник ее
Стоит в капелле фра Бартоломее,
Он весь из мрамора; весьма красив!
Пора идти, синьоры! Руку, Гвидо!
Пойдемте в полдень соколов спускать,
Подумайте, синьора, вы — одни.

(Уходит, опираясь на Гвидо, за ними — вся свита.)

Герцогиня *(глядя ему вслед)*

Да, герцог прав, я здесь совсем одна,
Заброшена, унижена, забыта!
Бывал ли кто так одинок, как я?

Мужчина, сватаясь, зовет детьми нас,
Нам говорит, что мы не в силах сами
Устроить жизнь, — и разбивает нашу:
Для них мы — вещь, их общие рабыни,
Нас меньше ценят, чем собак послушных,
Ласкают реже, чем любимых птиц!
Я, кажется, сказала: сватовство...
Не сватают — нас просто покупают,
И наше тело — рыночный товар!
Да, это общая судьба всех женщин.
Все выбирают неудачно мужа
И губят жизнь по прихотям его.
Что это доля всех — не легче каждой!
Я, кажется, ни разу не слыхала,
Чтоб женщина смеялась от души?
Нет, слышала: на площади, раз ночью...
Бедняжка шла, раскрасив ярко губы,
Веселья маску на лице храня...
О, так смеяться я бы не желала,
Нет, лучше умереть.

Входит Гвидо, который остается в глубине незамеченным; герцогиня преклоняет колени перед изображением мадонны.

О Матерь Божия!

Склонила ты свой бледный, кроткий лик
Меж ликов ангельских, поющих гимны!
Ответь же мне: ужель мне нет надежды?

Гвидо

Я более переносить не в силах.
Ее люблю! С ней должен говорить я!

(К герцогине.)

Помянут ли и я в молитвах ваших,
Синьора?

Герцогиня *(вставая с колен)*.

Нет, синьор. Одним несчастным
Мои молитвы могут быть нужны.

Гвидо

Тогда и мне!

Герцогиня

Но разве вы несчастны?
Иль почестей от герцога вам мало?

Гвидо

Мне от того не нужно, ваша светлость,
Наград, кого в душе я ненавижу.
Хочу тебя молить я на коленях:
Позволь тебе до гроба мне служить.

Герцогиня

Увы! я так ничтожна, что тебе
В награду ничего дать не могу я.

Гвидо *(хватая ее за руку)*

Ты можешь дать любовь мне!

Герцогиня отступает, а Гвидо падает к ее ногам.

О святая!

Прости мне, если я был слишком дерзок!
Ты красотой своей зажгла мне кровь.
Дай мне прильнуть устами богомольно
К твоей руке! От страсти я дрожу!
На все готов я, чтоб добиться только
Твоей любви.

(Вскакивает.)

Прикажешь ты мне вырвать

Из львиной пасти гибельную славу —
И я пойду в пустыню на борьбу
С немейским львом! Брось в середину битвы
Цветок, иль ленту, или что-нибудь,
К чему касалась ты, — я их достану,
Хотя б все рыцарство сражалось тут,
И принесу назад! И даже больше.
Мне прикажи на бледные утесы
Могучей Англии взобраться — я
С ее надменного щита сорву
Те лилии твоей родной страны,
Что у нее похитил лев британский,
Морей владыка!

Слушай, Беатриче!

Не уходи отсюда! Без тебя
Часы идут свинцовыми ногами,
Когда ж твое очарованье вижу,
Со скоростью Меркурия летят
И золотят всю жизнь!

Герцогиня

Я не ждала,
Что буду я любима. Только правда ль,
Что любишь ты так сильно, как клянешься?

Гвидо

Спроси: что, чайка — сильно любит море?
Спроси: что, роза — сильно любит дождь?
Спроси: что, жаворонок, на рассвете
Летающий к небу, — сильно любит день?
И все же все сравнения ничтожны —
Они лишь тень моей любви, горящей
Таким огнем, что водам океанов
Ее не погасить! Но ты молчишь.

Герцогиня

Не знаю я, что вам могу сказать.

Гвидо

Скажи и ты: люблю тебя.

Герцогиня

Так, сразу?

Совет хорош бы был, когда бы вас
Любила я. А если не люблю?
Тогда что мне сказать?

Гвидо

Скажи все то же!

Скажи: люблю! — и на твоих устах
Ложь, застыдившись, тотчас станет правдой.

Герцогиня

А может быть, не должно говорить.
Влюбленные счастливей до признанья.

Г в и д о

Молчание мне — смерть, а жить я должен!
Убей меня признаньем, не молчаньем.
Остаться мне иль мне уйти — скажи!

Г е р ц о г и н я

Не знаю я, уйти вам иль остаться.
Оставшись, вы похитите мою
Любовь. Уйдя, с собою унесете
Ее же... Гвидо! если б звезды пели,
Они не рассказали бы всей силы
Моей любви!.. Люблю тебя, мой Гвидо!

Г в и д о (*простирая к ней руки*)

О, говори еще! А мне казалось,
Что только ночью соловьи поют.
Но если ты молчишь, позволь устами
Прильнуть к твоим устам, поющим нежно.

Г е р ц о г и н я

Прильнув к устам, ты сердца не коснешься.

Г в и д о

Ужели для меня оно закрыто?

Г е р ц о г и н я

Увы, синьор, его нет у меня.
Едва тебя увидела я, ты
Его похитил! Против воли — вор,
В мою сокровищницу ты проник
И лучший перл с собой унес оттуда!
О, странный вор! Не зная сам того,
Ты стал богаче и меня оставил
Обкраденной и вместе с тем счастливой!

Г в и д о (*порывисто обнимая ее*)

Возлюбленная! милая! моя!
Не закрывай лица! Позволь открыть мне
Пурпуровые маленькие двери,
Где дремлет музыка! Позволь проникнуть
К кораллам уст твоих, и лучший дар
Я унесу с собой, чем все богатства,
Хранимые в горах Армейских грифом.

Герцогиня

Ты — господин мой! Все, чем я владею, —
Давно твое; а если нет чего,
Ты это все создашь мечтой и чудом
Ничтожество в богатство обратишь.

(Целует его.)

Гвидо

Как смел я, что гляжу так на тебя!
Фиалка прячется под свой листок,
Боясь смотреть на пламенное солнце,
Боясь его сиянья; мой же взор,
Мой дерзкий взор достиг такой отваги,
Что, как звезда недвижимая, глядит
В твои глаза, купаясь в их сиянье!

Герцогиня

О, если б на меня всегда смотрел ты!
Твои глаза — два зеркала глубоких.
В них возникая, узнаю себя
И рада, что в тебе живет мой образ.
Гвидо *(вновь обнимая ее)*.
Летающий диск! остановись на небе!
И сделай этот час бессмертным!

Краткое молчание.

Герцогиня

Милый,

Садись вот здесь, у самых ног моих.
Вложу я пальцы в волосы твои
И буду видеть, как твое лицо
К моим губам влечется, как цветок...
Случалось ли тебе когда входить
В пустынный зал, где пыль лежит и плесень,
Где много лет шагов не слышно было,
Засовы отодвинуть у окна
И отворить навстречу солнцу ставни?
Ты видел ли, как в окна входит солнце,
Как превращает каждую пылинку
В танцующую золотую точку?

Моя душа была тем залом, Гвидо,
Твоя любовь вошла в него, и вдруг
Все стало золотом. Не правда ль, Гвидо,
Любовь — смысл жизни.

Г в и д о

Да! Жизнь без любви
Мертва, как необделанная глыба
В каменоломне, прежде чем ваятель
Прозрел в ней бога! Да! Жизнь без любви —
Безмолвна, как простой тростник, растущий
По берегам реки и чуждый песен.

Г е р ц о г и н я

Но вот певец, по имени Любовь,
Тростник безмолвный сделает свирелью
И песнями наполнит! Ах, любовь
Любую жизнь способна сделать песней.
Не правда ли?

Г в и д о

Для женщин это правда.
Мужчины же творят резцом и кистью,
Как сын красильщика в Вероне, Павел,
Иль как в Венеции его соперник,
Великий Тициан, создавший деву
Стройнее лилий и белее лилий,
Всходящую по ступеням во храм,
Иль тот урбинец, чьи мадонны святы
Затем, что матери они вполне.
Но женщина — вот истинный художник!
Одна она способна нашу жизнь,
Запятнанную думами о деньгах,
Преобразить любовью в красоту!

Г е р ц о г и н я

Пусть жили бы мы оба в нищете!
Любя друг друга, были б мы богаты.

Г в и д о

Скажи «люблю» еще раз, Беатриче!

Герцогиня *(касясь пальцами его воротничка)*

Как этот воротник к лицу тебе!

Граф Моранцоне выглядывает из-за двери, ведущей в галерею.

Гвидо

Скажи еще раз мне: люблю!

Герцогиня

Я помню,

Что в Фонтенбло, когда еще была

Я в милой Франции, носил такие

Воротнички король.

Гвидо

Так ты не хочешь

Сказать: люблю!

Герцогиня *(смеясь)*

Король Франциск был рыцарь

С осанкой царственной, но ты — прекрасней!

Зачем же, Гвидо, мне твердить: люблю!

(Берет руками его голову и приближает ее к себе.)

Не знаешь разве ты, что я — твоя

Навек, душой и телом!

(Целует его, но внезапно встречает взгляд Моранцоне и вскакивает.)

О! Кто там?

Моранцоне исчезает.

Гвидо

Где, милая?

Герцогиня

Я видела глаза,

Горящие огнем, за этой дверью.

Гвидо

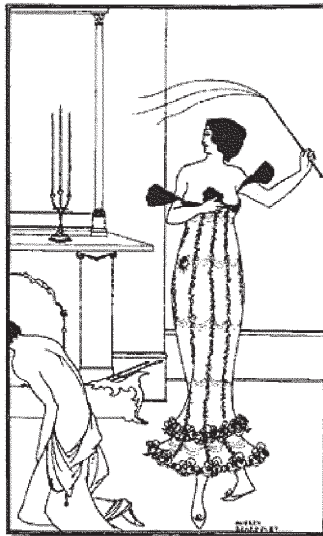
Нет никого. Должно быть, промелькнула

Тень часового.

Герцогиня продолжает стоять, глядя в окно.

Никого не видно.

ЭССЕ





Упадок лжи

Диалог

Действующие лица: Сайрил, Вивиэн.

Место действия: библиотека в сельском доме в Ноттингемшире.

Сайрил (*входя через застекленную дверь с террасы*). Дорогой Вивиэн, что за охота вам день-деньской сидеть взаперти среди книг! Такое прелестное утро! Воздух просто пьянит. Взгляните, лес покрылся розовой дымкой, словно вишневый сад в цвету. Пойдемте туда, поваляемся на траве, выкурим по сигарете и насладимся природой.

Вивиэн. Насладимся природой! Какое счастье, что к этому я уж с давних пор решительно неспособен. Говорят, что искусство учит нас любить природу больше, чем прежде, ибо открывает нам ее тайны; присмотритесь со вниманием к полотнам Коро или Констебла, и тогда в природе вам тоже предстанет нечто, не замечавшееся прежде. А вот я убедился в другом: чем лучше мы выучиваемся разбираться в искусстве, тем делаемся равнодушной к природе. Ведь что открывает нам искусство? — что в природе нет никакой соразмерности, что она на удивление груба, до крайности монотонна и лишена какой бы то ни было завершенности. О да, у природы, само собой, прекрасные намерения, но, как заметил где-то Аристотель, воплотить их она неспособна. Разглядывая ландшафт, я не могу не видеть все его изъяны. Впрочем, прекрасно, что природа столь несовершенна, не то у нас вообще не было бы искусства. Потому что искусство — это наш духовный протест, наша галантная попытка указать природе ее истинное место. Толкуют о бесконечном разнообразии природы, однако это чистой воды миф. Не в самой природе надлежит искать разнообразие. Оно в воображении, в фантазии, в тщательно оберегаемой слепоте смотрящего на нее человека.

Сайрил. Да зачем же разглядывать ландшафт? Можно просто поваляться на траве да поболтать за сигаретой.

В и в и э н. Ах, природа совсем к этому не располагает. Трава жесткая, сырая, да еще всюду кочки и эти несносные черные жучки. Помилуйте, самый неумелый из тех рабочих, о которых так хлопочет Моррис, изготовит вам стул куда удобнее тех, что предлагает природа, как бы она ни старалась. Природа блекнет перед комфортом «той улицы, что Оксфорду обязана своим названием», — так не без лукавства выразился как-то обожаемый вами поэт. И я об этом не сожалею. Предоставляла бы природа комфорт, и у нас бы не было никакой архитектуры, я же всегда предпочту быть под крышей, а не на свежем воздухе. Под крышей все и вся обретает свое подобающее место. Все нам подчинено, все сделано для нашего удобства и покоя. Самый эгоизм, столь насущный для того, чтобы человек проникся должным сознанием собственного достоинства, есть целиком результат обитания в четырех стенах. Покидая их, каждый становится безликой абстракцией. Индивидуальность исчезает бесследно. А к тому же природа так безразлична, так бесчувственна. Стоит мне пройтись по здешнему парку, и я сразу ощущаю, что для природы я ничуть не лучше коров, пасущихся на склоне, или лопухов, разросшихся по канавам. Природе более всего ненавистна мысль, это, думаю, очевидно всякому. Способность думать — самое нездоровое, что существует под солнцем, и люди от этого умирают точно так же, как от физических недугов. К счастью, уж у нас в Англии эта способность незаразна. Своим превосходным физическим здоровьем наш народ полностью обязан глупости, сделавшейся национальным свойством. Остается надеяться, что сей исторически сложившийся оплот нашего счастья пребудет незыблемым еще очень долгие годы; боюсь, правда, что мы становимся не в меру просвещенными; во всяком случае, все решительно неспособные чему бы то ни было учиться взялись теперь поучать — вот чем увенчалась наша страсть к образованию. Однако ступайте к этой докучливой неблагоустроенной природе, а я займусь своими гранками.

С а й р и л. Так вы пишете статью? Не очень-то вяжется с тем, что вы сейчас говорили.

В и в и э н. А кому нужно, чтобы вязалось? Одни тупицы да доктринеры, люди ужасающе скучные, тщатся подкрепить свои принципы бессмысленными поступками, обожая практику, это *reduction ad absurdum*¹. Я не из их числа. Вслед Эмерсону я начертал на две-

¹ Доведение до абсурда (*лат.*).

рях моей библиотеки слово «прихоть». Да кроме того, моя статья содержит в себе предостережение взвешенное и бесполезное. Коли к нему прислушаются, начнется новый ренессанс искусств.

С а й р и л. О чем же она?

В и в и э н. Я думаю ее назвать «Упадок лжи», с подзаголовком: «Протест».

С а й р и л. Лжи? Мне-то казалось, наши политические деятели уж никак не допустят ее упадка.

В и в и э н. Уверяю вас, вы ошибаетесь. В политике одни только искажения, которые к тому же стараются выдать за истину, аргументировать, облагородить. Что тут общего с природой настоящей лжи, которая откровенна и бесстрашна, отличаясь прекрасной безответственностью, здравым и естественным презрением к любым потугам что-то доказывать! Ведь что такое тонкая ложь? Просто суждение, не нуждающееся в свидетельствах, помимо себя самого. Те, кого скудость воображения понуждает искать свидетельства в поддержку лжи, могли бы сразу сказать правду. Нет, занятые политикой этого не сделают. Кое-что в этом роде, возможно, удалось бы со стряпчими. Их сословие облечено в мантии софистов. Восхитителен этот их поддельный пыл, это фантастическое пустословие. Словно выученики леонтийских школ, они умеют скверное дело превратить в сносное и даже научились добиваться от неласковых судей таких приговоров, которые с триумфом оправдывают их клиентов, чья невиновность с самого начала ни у кого не вызывала и тени сомнения. Однако это люди с прозаическим складом ума, не стыдящиеся ссылаться на прецеденты. Как они ни стараются, а все равно правда, глядишь, напомнит о себе. Да что говорить, даже газеты стали не те. На них теперь вполне можно полагаться. Проглядываешь колонку за колонкой и убеждаешься в этом с непреложностью. Происходит всегда именно то, о чем никто читать не станет. Боюсь, не много наберется у меня слов в одобрение что стряпчего, что газетчика. Да ведь я и отстаиваю права лишь той Лжи, которую заключает в себе искусство. Прочсть вам, что я сочинил? Вам это может оказаться очень бесполезным.

С а й р и л. Разумеется, прочтите, только сначала дайте сигарету. Благодарю вас. Кстати, в каком журнале вы это печатаете?

В и в и э н. В «Ретроспективном обозрении». Кажется, я вам говорил, что избранные вернули этот журнал к жизни.

С а й р и л. А кто это — «избранные»?

В и в и э н. Ну разумеется, Усталые Гедонисты. Клуб, к которо-

му и я принадлежу. Собираясь на наши встречи, мы не забываем украсить петлицу увядшей розой, и все мы в некотором роде почитатели Домициана. Боюсь, вас в этот клуб не примут. Вы слишком дорожите простыми радостями бытия.

С а й р и л. Надо думать, меня забаллотировуют по причине моего чрезмерного жизнелюбия?

В и в и э н. Не исключено. Да к тому же и по возрасту вы уже чуть не подходите. Мы не принимаем людей средних лет.

С а й р и л. Думаю, вам порядком скучно друг с другом.

В и в и э н. Это так. И это одна из целей, с каковыми учреждается наш клуб. А теперь обещайте не перебивать меня слишком часто, и я вам прочту свою статью.

С а й р и л. Я весь внимание.

В и в и э н (*читает с очень четкой музыкальной интонацией*). «Упадок лжи: протест». Одной из главных причин, объясняющих на удивление пресный колорит современной литературы в большинстве ее образцов, вне всякого сомнения, является упадок Лжи как искусства, как науки и как общественного наслаждения. Историки древности сообщали нам восхитительные выдумки, изображая их как факты; сегодня же романисты излагают скучные факты, стараясь нас уверить, будто они их выдумали. «Синяя книга» у нас на глазах становится идеальным образцом литературы, иметь ли в виду ее цели или способ повествования. Писатель только и знает, что, вооружившись своим микроскопом, тщательнейшим образом разглядывать свой скучный «document humain», ото всех на свете отгородившись в каком-нибудь жалком «coin de la creation»¹. Вы непременно его встретите в Национальной библиотеке, в Британском музее; обложившись книгами, он бесстыдно выуживает из них все касающееся его темы. Ему даже не хватит смелости позаимствовать чужие идеи, нет, он все черпает напрямик из жизни, а затем, по странствував между собственным наблюдением и энциклопедиями, умиротворенно сядет за письменный стол, чтобы лепить персонажей с членов собственного семейства да с прачки, приходящей раз в неделю, и ободрять себя уверенностью, что информации у него предостаточно, — от нее он уж никак не избавится, даже в минуту, когда посетит его свободная мысль.

Потери, которые несет литература ввиду утвердившегося в на-

¹ «Человеческий документ»... «приюте творчества» (*франц.*).

ши дни превратного представления о творчестве, трудно и подсчитать. В ходу бездумное понятие «прирожденный лжец», равно как толкуют о «прирожденном поэте». Но прирожденных лжецов и поэтов не бывает. Ложь, поэзия — это ведь искусство, причем еще Платон понимал, что они взаимосвязаны; а раз это искусство, надо изучать его законы со всем тщанием, со всем аналитическим рвением. Да и вправду тут есть особого рода техника, ничуть не менее строгая, чем в искусствах, где она наглядна, в живописи или ваянии с их изощренными тайнами цвета и формы, секретами мастерства, изысканными способами достижения художественного эффекта. Поэта узнают по музыке его строк, — не так ли отличают и лжеца по богатству ритмов его речи, причем такое не дается лишь благодаря мимолетному вдохновению. Как повсюду, совершенство и тут оказывается вознаграждением за долгие усилия. Однако в наше время, когда умение сочинять стихи не в меру распространилось и следовало бы, будь то возможно, поставить ему некоторые пределы, умение лгать, напротив, едва ли не превращается в нечто постыдное. Немало юношей от природы наделены даром преувеличивать, который они поначалу и демонстрируют; допуская, что эту склонность поощряли бы и ценили, она со временем могла бы развиться, произведя нечто поистине замечательное и удивительное. Увы, чаще всего она пропадает втуне. Человек, ею отмеченный, либо делается пленником пошлой привычки к точности...

С а й р и л. Помилуйте!

В и в и э н. Прошу вас не перебивать на середине фразы. «Человек, ею отмеченный, либо делается пленником пошлой привычки к точности, либо проводит свои дни в обществе людей поживших и слишком хорошо эрудированных. Для его воображения фатально как то, так и другое — да и для чьего воображения это не было бы фатально? — так что проходит совсем немного времени, и у него вырабатывается отвратительная, нездоровая привычка говорить правду, проверять на истинность все, что слышит, без колебаний возражать людям, которые намного моложе, а в итоге нередко он принимается писать романы, настолько схожие с жизнью, что решительно никто не поверит в вероятность того, о чем повествуется. Речь идет не о каких-то исключительных случаях. Мы просто приводим один из многих возможных примеров; и если окажется никоим образом невозможно сдержать или по меньшей мере видоизменить наше чудовищное преклонение перед фактами, Искусство делается стерильным, а Красота отлетит от этой земли.

Даже Роберт Льюис Стивенсон, восхитительный мастер тонкой, расцвеченной фантазией прозы, не вполне уберется от этого современного порока, ибо мы положительно не знаем, как иначе именовать привычку, о коей выше сказано. Случается, что рассказ утрачивает всякое правдоподобие, оттого что его стремятся сделать излишне правдивым, и вот «Черная стрела» до того нехудожественна, что в ней не найдется ни единого анахронизма, которым мог бы похвалиться автор, а превращения доктора Джекила уж очень подозрительно напоминают какой-нибудь эксперимент из числа описываемых в хирургическом журнале. Что касается Райдера Хаггарда, обладающего, или некогда обладавшего, задатками совершенно великолепного лжеца, теперь он ужасно опасается, как бы в нем не заподозрили талант, а оттого, рассказав нечто замечательное, испытывает нужду представить дело так, что все описанное однажды произошло с ним самим, оговорив это в специальном примечании, словно вовсе не обойтись без таких вот трусливых уверений в истинности описанного. Другие романисты ничем не лучше. Генри Джеймс пишет прозу так, как будто сочинять для него тяжкое наказание, растрачивая свое мастерство изящного стилиста, свои отточенные периоды, свою живую и колкую сатиру на то, чтобы всему подыскать слабую мотивировку и все изобразить с определенной «точки зрения». Холл Кейн, спору нет, ставит перед собой цели грандиозные, однако беда та, что он вечно кричит на пределе голоса. Он до того громозвучен, что ничего не слышат. Джеймс Пейн постиг искусство скрывать вещи, которые вовсе и не стоит находить. Он устанавливает самоочевидное с энтузиазмом сыщика, у которого неважное зрение. Читая его страницу за страницей, не выдержишь напряжения, в каком находится автор. Уильям Блэк запряг в свой фаэтон коней, не воспаряющих к солнцу. При виде их небо к вечеру окрашивается от страха в неистовые краски, как на хромо-литографии. Запуганные их топотом крестьяне принимают за диалект. Миссис Олифент премило лепечет о викариях, лаун-теннисе, приемах, домашних заботах и других вполне неинтересных предметах. Мэрион Кроуфорд сжег себя на алтаре местного колорита. Он напоминает даму из одной французской комедии, все принимавшуюся толковать про «le beau ciel d'Italie»¹. К тому же у него появилась скверная манера вещать моральные откровения по-

¹ «Прекрасное небо Италии» (франц.).

шлого свойства. То и дело он поясняет нам, как славно, когда ведут себя хорошо, и как нехорошо, когда поступают скверно. Иной раз он только что не проповедует с амвона. «Роберт Элсмир», разумеется, истинный шедевр — в том самом «genre epiqueux»¹, который для англичан, похоже, во всей литературе единственный, что доставляет наслаждение. Один из наших пронизательных юных друзей как-то заметил, что эта книга напоминает ему разговоры за чаем с бутербродами в семье раскольников, отличающихся серьезными духовными интересами, и это впечатление очень точное. Вот уж поистине такую книгу не написали бы нигде, кроме Англии. Ведь Англия — родина погибших идей. Что же касается новой и день ото дня растущей школы романистов, для которых солнце всегда восходит в Ист-Энде, сказать о них можно одно: они находят жизнь грубой и потому под их пером она остается сырой.

Немногим лучше обстоит дело и во Франции, хотя там не появилось ничего столь намеренно скучного, как «Роберт Элсмир». Где Мопассан, обладающий тонкой, язвительной иронией и ярким, живым стилем, срывает с жизни последние лоскутки, еще скрывавшие ее убожество, и показывает ее гноящиеся язвы. Он пишет мрачные маленькие трагедии, в которых все действующие лица нелепы и смешны, или горькие комедии, заставляющие смеяться вот уже поистине до слез. Золя, верный высокому принципу, в одной его статье о литературе изложенному так: «L'homme de genie n'a jamais d'esprit»², — самым решительным образом взялся доказывать, что, не являясь гением, он, во всяком случае, способен наводить редкую скуку. И как замечательно ему это удастся! Он не лишен мощи. Случается, как в «Жерминале», его романы несут в себе нечто почти эпическое. Но в общем его творчество с начала и до конца неприемлемо, и не по причинам морали, а по причинам искусства. С этической стороны у Золя все, как и должно быть. Автор совершенно правдив и описывает все так, как случается на самом деле. Чего еще может желать самый строгий моралист? Мы вовсе не разделяем того нравственного гнева, который теперь многие испытывают по отношению к Золя. Это всего-навсего гнев Тартюфа, которого разоблачили. Но если судить о «Западне», «Нана», «Накипи» по критериям искусства, что можно сказать в пользу их творца? Ниче-

¹ «Тоскливом жанре» (франц.).

² «Истинному гению неведомо остроумие» (франц.).

го. Рескин, касаясь персонажей романов Джордж Элиот, однажды сказал, что они напоминают кучу мусора, выметенного из омнибуса, но персонажи Золя еще хуже. У них скучные пороки и еще более скучные добродетели. Хроника их жизни лишена какого бы то ни было интереса. Кому какое дело до происходящего с ними? От литературы мы ждем благородства, очарования, красоты и силы воображения. Нас совсем не привлекает перспектива испытать содрогание и отвращение, слушая рассказ о деяниях низменного толка. Доде лучше. Он остроумен и легок, а его стиль непринужден. Но недавно он совершил литературное самоубийство. Отныне никому не будет дела до Делобелля с его «Il faut lutter pour l'art», как и до Вальмажура, все рассуждавшего о соловье, или до того описанного в «Джеке» поэта, которого влекли «mots cruels»¹, поскольку в книге «Двадцать лет моей литературной жизни» автор сообщает, что все эти персонажи взяты им непосредственно из действительности. Чувство такое, словно они вдруг утратили всю свою жизненность, все те немногие прекрасные качества, какими располагали прежде. Истинно реальны только персонажи, в реальности никогда не существовавшие; а если романист настолько беспомощен, что ищет своих героев в гуще жизни, пусть он хоть сделает вид, будто выдумал их сам, а не похваляется схожестью с доподлинными образцами. Персонажи нужны в романе не для того, чтобы увидели людей, каковы они есть, а для того, чтобы познакомиться с автором, не похожим ни на кого другого. В противном случае роман просто не принадлежит искусству. Что касается Поля Бурже, мастера roman psychologique², он совершает ошибку, полагая, будто современных мужчин и женщин действительно можно подвергать анализу на протяжении бесчисленных глав. На деле же люди, принадлежащие к хорошему обществу — а Бурже редко покидает квартал Сен-Жермен, разве что с целью навестить Лондон, — интересны лишь масками, которые каждый из них носит, а отнюдь не тем, что за этими масками скрыто. Унизительно сознавать, что все мы вылеплены из одного теста, но куда же от этого деться? В Фальстафе есть нечто от Гамлета, а в Гамлете немало от Фальстафа. Толстому рыцарю ведомы свои приступы меланхолии, юного же принца, случается, влечет к грубоватому юмору, а отличаемся мы друг

¹ «Надо бороться за искусство»... «жестокие слова» (франц.).

² Психологического романа (франц.).

от друга сущими пустяками: костюмами, манерами, интонациями, религиозными верованиями, наружностью, привычками и прочим в том же роде. Чем более пытаешься понять людей, тем стремительнее исчезают причины этим заниматься. Раньше или позже упрешься в эту кошмарную универсалию, именуемую человеческой природой. Всякий, кому довелось пожить среди бедных, подтвердит, что братство людское не пустая выдумка поэтов, а самая гнетущая и гнусная реальность; и ежели писатель обязательно стремится познать нравы высшего общества, он мог бы с тем же успехом постичь их, изобразив торговков спичками или разносчиков фруктов». Однако, дорогой Сайрил, я не стану дальше вам докучать заметками по этому поводу. Вовсе не оспариваю, что в современных романах есть много хорошего. Я настаиваю лишь на одном: в общем и целом читать их невозможно.

Сайрил. Что же, это весьма существенное наблюдение, и все-таки замечу, что в своей придирчивости вы иногда уж очень несправедливы. Мне нравятся «Судья с острова Мэн» и «Дочь Хета», равно как «Ученик» и «Мистер Айзекс», а что до «Роберта Элсмира», я его обожаю. Не думайте, впрочем, что я считаю эту книгу серьезной. Если видеть в ней постижение проблем, с которыми сталкивается истинный христианин, она нелепа и старомодна. Та же арнольдская «Литература и догма», только без литературы. К нашему времени это имеет отношение столь же далекое, как «Свидетельства» Пейли или метод толкования библейских текстов, предложенный Коленсо. Можно ли вообразить что-либо менее вдохновляющее, чем невезучий герой, который со всей серьезностью славит давным-давно угасшую зарю, до того не понимая смысла тех далеких событий, что он намерен под новой вывеской возродить старое дело? Но с другой стороны, там найдется несколько умных шаржей, с десятков превосходных цитат, а философия Грина очень хорошо подсластила горечь авторского рассказа. Не могу не выразить удивления тем, что вы ни словом не обмолвились о двух романистах, которых всегда читаете, — Бальзаке и Джордже Мередите. Уж они-то оба несомненные реалисты, разве не так?

Вивин. Ах, Мередит! Кому по силам определить, что он такое! Его стиль — чистый хаос, озаренный вспышками ослепительных молний. Как повествователь он владеет всем на свете, за исключением языка, как романист умеет абсолютно все, не считая способности рассказать историю, а как художник тоже постиг все, кроме дара изъясняться внятно. У Шекспира какой-то персонаж —

Оселок, если не ошибаюсь, — рассуждает о человеке, который всегда ломает себе ноги из-за того, что наделен столь утонченным умом, и думаю, критики Мередита должны бы вспомнить эту сентенцию, дабы судить о нем здраво. Впрочем, кем бы он ни был, реалист он никакой. Верней, он дитя реализма, но, я бы сказал, такое дитя, которое отказывается разговаривать с собственным родителем. Он совершенно сознательно превратил себя в романтика. Кланяться Ваалу он отказался со всей решительностью, да если бы против назойливых откровений реализма не взбунтовался его тонкий дух, уже одного его стиля было бы более чем достаточно, чтобы держать на необходимом расстоянии реальную жизнь. С помощью стиля он окружил свой сад изгородью из шипов, в котором полно чудесных красных роз. А Бальзак — ну он являл собой совершенно изумительное сочетание темперамента художника с дотошностью ученого. Последнюю он и оставил в наследство ученикам, первый же принадлежал ему одному. Различие между такой книгой, как «Западня» Золя, и «Утраченными иллюзиями» — это различие между реализмом, не признающим воображения, и полной воображения реальностью. Бодлер пишет: «Все герои Бальзака отмечены той же страстью к жизни, которая вдохновляла его самого. Все его повести столь же насыщены переливами цвета, как сны. Каждый персонаж — заряд, волевым усилием досылаемый в жерло. Любая судомойка отмечена печатью таланта». Почитайте-ка Бальзака как следует, и наши ныне живущие друзья окажутся просто тенями, наши знакомые — тенями теней. Его персонажам привычна жизнь пылкая, окрашенная в огненные цвета. Они нас себе подчиняют, заставив позабыть о скепсисе. Одна из величайших драм моей жизни — это смерть Люсьена де Рюампре. Пережитое при чтении этой сцены горе навсегда осталось во мне, как я ни старался избавиться от подобного чувства. Оно возникает вновь и вновь, причем в переживаемые мной моменты радости. Я о нем вспоминаю, когда смеюсь. Однако и Бальзак не больше реалист, чем был Гольбейн. Он созидал жизнь, а не воспроизводил ее. Соглашусь, однако, с тем, что современность формы он ценил не в меру высоко, а поэтому, если подразумевать качества высокой художественности, ни одна его книга не сопоставима с «Саламбо» или «Генри Эсмондом», с «Монастырем и очагом» или «Виконтом де Бражелоном».

С а й р и л. Вы, стало быть, против того, чтобы форма была современной?

В и в и э н. Да. Слишком непомерна цена, которую приходится

платить за ценность вовсе не высокую. Чисто современная форма заключает в себе что-то вульгарное. Иначе и не может быть. Публика воображает, что Искусство должно тянуться к сиюминутному и зримому, раз это притягивает к себе саму публику, а оттого сиюминутное должно составлять предмет Искусства. Но уже в силу того, что им интересуется публика, Искусство не может иметь дела с сиюминутным. Кто-то верно сказал: прекрасно лишь то, что не имеет к нам касательства. Едва же явление или вещь оказываются полезными и необходимыми нам, тем или иным образом нас задевают, причиняя боль или наслаждение, начинают сильно воздействовать на наши чувства, становятся жизненно важной частью мира, где мы живем, они тем самым уже перестают быть истинной сферой Искусства. К содержанию Искусства нам надлежит оставаться более или менее безразличными. По крайней мере, мы должны избегать каких бы то ни было пристрастий, предвзятостей и предрасположенности к чему-то одному. Гекуба нам ничто, и как раз поэтому ее горести составляют столь благодарный материал для трагедии. В анналах литературы я не знаю ничего печальнее, чем история творческого пути Чарлза Рида. Он написал прекрасную книгу — «Монастырь и очаг»; она стоит настолько же выше «Ромолы», насколько та, в свою очередь, выше, чем «Дэниел Деронда», однако у Рида она единственная, а всю оставшуюся жизнь он потратил попусту, поддавшись глупому стремлению быть как можно современнее, привлечь внимание общества к тяготам узников наших тюрем и жестокостям, чинимым в частных лечебницах для душевнобольных. Чарлз Диккенс оставляет довольно гнетущее впечатление, когда муки совести побуждали его взывать к соотечественникам, чтобы они выказали сочувствие жертвам законов о бедных; а Чарлз Рид, этот художник, этот знаток, наделенный безошибочным чувством красоты, заставит ангелов заливаться слезами, когда, подобно заурядному памфлетисту или газетчику, жадному до сенсаций, он принимается бушевать, обличая пороки нынешней действительности. Поверьте мне, милый Сайрил, эта современность формы, как и современность содержания, — понятия положительно и безусловно превратные. Пошлое облачение века мы принимаем за одяние Музы и вместо того, чтобы прогуливаться по рощам Аполлона, дни напролет проводим на грязных улицах и в отвратительных предместьях наших ужасающих городов. Вот уж поистине мы деградировали, продав принадлежащее нам по праву рождения за чечевичную похлебку фактов.

С а й р и л. В том, что вы говорите, есть нечто верное, и не приходится сомневаться, что при чтении сугубо современного романа мы способны испытать те или иные переживания, но неспособны заставить себя его прочесть. А ведь отличие настоящей литературы от поддельной, вероятно, тем всего точнее определяется, что настоящую книгу хочется перечитывать. Если не тянет возвращаться к книге снова и снова, незачем и вообще ее открывать. Но что вы скажете насчет призывов вернуться к Жизни, к Природе? Сколько раз говорилось, что вот истинная панацея от всех бед.

В и в и э н. Я вам прочту, что у меня по этому случаю написано. Место это идет в моей статье ниже, но прочту его прямо сейчас.

«В наше время то и дело слышишь: «Давайте вернемся к Жизни и Природе; они помогут возродить Искусство, влив свежую кровь в его вены; они позволят ему крепко стать на ноги, наполнят силой его мышцы». Увы! Мы заблуждаемся, доверчиво внимая этим доброжелателям, искренне верящим в свои рекомендации. Природа всегда отстает от века. А что касается Жизни, это раствор, в котором Искусство гибнет, это враг, плотным кольцом осадивший его крепость».

С а й р и л. Что вы имеете в виду, утверждая, что Природа всегда отстает от века?

В и в и э н. Да, я выразился довольно загадочно. А разумею я вот что. Если под Природой понимать простой природный инстинкт, противостоящий самосознающей культуре, произведения, вдохновленные таким инстинктом, всегда окажутся старомодными, устарелыми, выпавшими из времени. Одно прикосновение Природы создает родственную связь всего мира, однако второе ее прикосновение разрушает весь мир Искусства. Если же в Природе видеть совокупность явлений, выступающих внешними по отношению к человеку, в ней человек может найти лишь то, что сам в нее внес. Она сама ничего нам не предлагает. Вордсворт предпочел обитать рядом с озерами, но никогда не был озерным поэтом. В воспетых им камнях он лишь прочел гимны, которые сам же среди них спрятал. Он славил Озерный край, но прекрасные свои стихи он создавал, когда обращался не к Природе, а к поэзии. Это поэзия подарила ему «Лаодамию», и чудесные сонеты, и Великую оду, какой мы ее знаем. А Природа подарила только «Марту Рей», «Питера Белла» да славословия скребку мистера Уилкинсона.

С а й р и л. Полагаю, этот взгляд можно оспорить. Я склонен доверять «цветка простого вдохновенью», хотя, несомненно, худо-

жественная ценность подобного вдохновения целиком зависит от темперамента того, кто им проникнется, так что возврат к Природе есть, собственно, лишь способ обогатить свою личность. Вероятно, против этого вы возражать не станете. Однако, что там у вас дальше сказано?

В и в и э н (*читает*). «Искусство начинается с того, что художник, обратившись к нереальному и несуществующему, стремится создать путем своего воображения нечто восхитительное и прибегает для этого к украшению, не имеющему никакой прикладной цели. Это самая первая стадия. А вслед за тем Жизнь, зачарованная новоявленным чудом, просит, чтобы ей разрешили вступить в этот магический круг. Искусство воспринимает жизнь как часть своего сырого материала, пересоздает ее и перестраивает, придавая необычные формы; оно совершенно безразлично к фактам, оно изобретает, оно сотворяет посредством воображения и грезы, а от реального отгораживается непроницаемым барьером прекрасного стиля, декоративности или идеальных устремлений. Третья стадия — когда Жизнь все-таки одерживает победу, изгоняя Искусство в места необитаемые. Вот это и есть истинное декадентство, то, от которого мы сейчас страдаем.

Обратимся к английской драме. Поначалу Искусство драмы, которым занимались монахи, было условным, декоративным, мифологичным. Затем оно приняло к себе на службу Жизнь, используя некоторые внешние ее формы и создавая совершенно новую разновидность людей, чьи горести оказывались несравненно более величественными, чем те, какие дано было испытать любому человеку, а радости превосходили счастье удачливого любовника, — людей, которым ведомы были ярость титанов и бестрепетность богов, тех, кто познали ужасающий, равно как величественный, грех, ужасающую, равно как величественную, добродетель. Драма дала язык, отличный от того, на каком изъяснялись в обиходе, наполненный сладкой музыкой и тонкими ритмами, торжественный, благодаря строгости каденции, утонченный, ибо в нем заключались изощренные рифмы, пересыпанный перлами удивительных слов, расцветенный торжественностью выговора. Она облекла своих героев в изумительные одеяния, одарила их масками, и ее велением мир древности восстал из своих мраморных гробниц. Новый Цезарь шествовал по улицам восставшего из небытия Рима, и новая Клеопатра плыла по Антиохии под пурпурным парусом, красующимся над лодкой, которая движется под звуки флейт. Старые ми-

фы, легенды, грезы обрели форму и существо. История была полностью написана заново, и среди мастеров той драмы едва ли нашлся бы хоть один, который не сознавал бы, что целью Искусства является не просто правда, но многозначная красота. В этом тогдашние мастера ничуть не заблуждались. Ведь на поверку Искусство и есть форма преувеличения, а отбор, составляющий его основу, представляет собой не что иное, как особенно действенный способ выделить самое важное.

Однако вскоре Жизнь посягнула на совершенство формы. Даже у Шекспира различимы предвестия конца. Они выказывают себя в постепенном отходе от белого стиха, начавшемся с пьес более позднего времени, в том предпочтении, которое начали отдавать прозе, в непомерной важности, приписанной мастерству лепки характеров. Те места у Шекспира — а их немало, — где язык становится неуклюжим, вульгарным, полным преувеличений, неубедительным, даже непристойным, своим происхождением целиком обязаны Жизни, желающей расслышать в пьесе отзвуки собственного своего голоса и отрекающейся от того языка красоты, посредством которого Жизнь только и должна обретать для себя выражение. Шекспира никак не назвать безупречным художником. Он слишком любит черпать непосредственно из жизни, заимствуя у нее естественную ее речь. Он забывает, что Искусство, пожертвовав воображением, жертвует собой. Гете замечает где-то: «*In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister*» — «Знак мастера — умение творить в известных пределах», и поистине эта способность ощущать предел — самое необходимое условие стиля, к какому бы из искусств ни обратиться. Не будем, однако, задерживаться на Шекспире с его реализмом. «Буря» — лучшее отречение от этого реализма, какое можно себе вообразить. Мы все это говорили лишь к тому, что великолепная драматургия века Елизаветы и Якова таила в себе семена собственного разложения, и если своею мощью она отчасти была обязана тому, что использовала жизнь в качестве сырого материала, то и все ее слабости проистекали от того, что жизнь начинала определять способ художественного изображения, принятый в этой драматургии. Неизбежным результатом подобной подмены творчества имитацией и отказа от воображения как главного способа создать форму стала сегодняшняя английская мелодрама. В этих пьесах персонажи говорят друг с другом на сцене в точности так, как говорили бы, уйдя с нее после спектакля; они не знают ни вдохновения, ни пафоса; позаимствованные прямиком из действительно-

сти, они несут на себе всю ее вульгарность, вплоть до мельчайших штрихов; в них распознаются походка, манеры, костюмы, акцент самых заурядных людей, и обратить на них внимание столь же мудрено, как на пассажиров вагона третьего класса. А при всем том до чего тоскливы многие такие пьесы! Им не удастся донести хотя бы то ощущение подлинности, которое так важно авторам и служит единственным оправданием самой пьесы. Реализм как способ создавать искусство полностью несостоятелен.

То, что справедливо относительно драмы и романа, не менее справедливо и по отношению к тем искусствам, которые принято называть декоративными. Вся история таких искусств в Европе — это хроника борьбы между ориентализмом — с его откровенным неприятием имитации, пристрастием к художественной условности, нелюбовью к любого рода воспроизведению феноменов Природы — и свойственным нам духом подражательства. Там, где торжествовал ориентализм — из-за географической близости, как было в Византии, на Сицилии, в Испании, или под влиянием крестовых походов, как в остальной Европе, возникало прекрасное, полное воображения искусство, в котором зримые явления жизни осмысливались посредством художественной условности, а то, чего в жизни нет, изобреталось и изображалось так, чтобы доставить радость ей самой. Но как только мы обращались к Жизни и Природе, произведения сразу становились вульгарными, пошлыми, неинтересными. Нынешнее ковротачество с его пристрастием к воздушным эффектам, тщательно выстраиваемой перспективой и обилием голубого неба, с его достоверным и вымученным реализмом не обладает абсолютно никакой красотой. Немецкое витражное стекло просто невыносимо. В Англии стали ткать более или менее сносные ковры, но случилось это лишь по той причине, что мы вспомнили о духе искусства Востока и о его приемах. А те ковры и гобелены, которые появлялись лет двадцать назад, даже у филистеров вызывали насмешку своей унылой и торжественной верностью жизни, тупым поклонением законам Природы, плоским воспроизведением реальных предметов. Один просвещенный магометанин в нашем присутствии высказался так: «Вы, христиане, до того поглощены заботами о том, как бы отступить от четвертой заповеди, что вам и в голову не придет приложить к искусству вторую». Он был совершенно прав, и суть дела сводится к тому, что истинной школой искусства является не Жизнь, а само Искусство».

А теперь позвольте прочесть пассаж, где, мне кажется, весь вопрос разъяснен с необходимой полнотой.

«Но так было не всегда. Незачем ссылаться на поэтов, ибо они, за несчастливым исключением Вордсворта, всегда были верны своей высокой миссии и всеми признаются решительно непригодными в качестве вещателей истины. Однако вспомним и другое — Геродота, который, вопреки мелким и низким посягательствам современных педантов, ищущих подтверждения фактам, излагаемым в его истории, может быть по праву назван Отцом Лжи; дошедшие до нас речи Цицерона и биографии Светония; Тацита в лучших его сочинениях; «Естественную историю» Плиния, Ганнона и его «Перипла»; все ранние хроники; жизнеописания святых; Фруассара и сэра Томаса Мэлори; путешествия Марко Поло; Олафа Магнуса, и Альдрованда, и Конрада Ликосфения с его великолепным «*Prodiglorum et Ostentorum Chronicon*»; автобиографию Бенвенуто Челлини; мемуары Казаковы; «Историю чумы» Дефо; Босуэллову «Жизнь Джонсона»; наполеоновские приказы; наконец, произведения нашего Карлейла, чья «Французская революция» представляет собой один из самых очаровательных исторических романов из всех, когда-либо написанных, — вспомним обо всем этом, чтобы удостовериться, что истинные события здесь повсюду лишь играют подобающую подчиненную роль, либо ими вовсе пренебрегают, так как они невыразительны. Теперь же все изменилось. Истинным событиям не просто принадлежит главное место в историях, но они уже посягают и на область Фантазии, они вторглись в царство Романтики. Везде распознается их леденящее дыхание. Они заставляют нас сделаться вульгарными. Грубый торгашеский дух Америки, ее плоский материализм, равнодушие к поэтической стороне бытия, скудость воображения и отсутствие высоких недостижимых идеалов — все это целиком и полностью результат того, что своим национальным героем страна признала человека, который, по собственному его признанию, был неспособен ко лжи, и не будет преувеличением сказать, что рассказ о Джордже Вашингтоне и срубленной вишенке причинил этой стране больше вреда, причем за сравнительно недолгий срок, чем любая иная моральная притча в литературе всего мира».

С а й р и л. Ну, знаете ли!

В и в и э н. Уверяю вас, дело обстоит именно так, и самое забавное, что та история про вишенку — чистейшая выдумка. Не думайте, однако, что я уж совсем мрачно смотрю на будущее искусств в Америке или у нас дома. Вот слушайте:

«У нас нет ни тени сомнения, что еще до того, как завершится этот век, должна произойти какая-то перемена. Наскучив нудными благотельными поучениями людей, не обладающих ни остроумием, потребным для преувеличений, ни одаренностью, необходимой для романтического, устав от интеллектуалов, погруженных в воспоминания, всегда основанные на пережитом ими самими, и в размышления, вечно ограниченные пределами возможного, чтобы любой присутствующий при этом филистер имел возможность их поправить, коли ему придет такое желание, Общество рано или поздно должно вернуться под опеку своего бывшего лидера, каковым является просвещенный и покоряющий смелостью фантазии лжец. Кто он был, тот выдумщик, который, и не думая отправляться на охоту со всеми ее грубыми неизбежностями, под вечер рассказывал своим пораженным собратьям по пещере, как он выманил мегатерия, скрывавшегося в каменной, прорезанной жилами яшмы выемке, где стустилась пурпурная мгла, как сошелся один на один с мамонтом и, прикончив его, взял трофеем его золоченые бивни, — этого мы сказать не можем, как не скажет и никто из современных антропологов, слишком робких, несмотря на всю их хваленую науку. Но к какому бы племени он ни принадлежал, какое бы ни носил имя, именно он был истинным творцом искусства социального общения. Ведь цель лжеца — только зачаровывать, восхищать, доставлять наслаждение. Он тот столп, без которого рухнет цивилизованное общество, и без него обед, пусть и устраиваемый обитателями великолепных особняков, так же тосклив, как лекция в Королевском обществе, или дебаты в собрании авторов, пишущих по контракту, или представление очередной фарсовой комедии Берненда.

Но не одно лишь общество будет приветствовать его с энтузиазмом. Искусство, вырвавшись из темницы реализма, падет к нему в объятия, целуя это прекрасное, неестественное лицо, поскольку знает, что он один владеет великой тайной всех художественных свершений, заключающейся в том, что Истина полностью и абсолютно создается стилем; а Жизнь, эта бедная, предсказуемая, неинтересная человеческая жизнь, устав саму себя повторять, на радость Герберту Спенсеру, высокоученым историкам и составителям статистических таблиц, робко последует за ним и попытается доступными ей простыми, примитивными способами воссоздать какие-то из чудес, о коих он повествует.

Несомненно, всегда найдутся критики, которые, подобно некоему господину из «Сатердей ревью», со всею серьезностью примутся корить рассказывающего об этих чудесах за то, что он неваж-

но знает естественную историю, попытаются оценивать его искрящуюся воображением повесть в согласии со своими критериями, говорящими о полной неспособности что-то вообразить, или в негодовании примутся вздымать перепачканные чернилами руки, когда некий превосходный джентльмен, никогда не странствовавший дальше тисовой рощи сразу за его садом, напишет захватывающе интересный рассказ о путешествиях, как сэр Джон Мандевилль, или, подобно великому Рэли, познакомит нас с целой всемирной историей, хотя о прошлом он не знает ровным счетом ничего. А чтобы подвести под свои упреки солидное основание, они попытаются укрыться щитом того, кто создал волшебника Просперо, дав ему в помощь Калибана и Ариэля, кто слышал, как тритоны, плавая вокруг коралловых рифов очарованного острова, дуют в свои рожки и как в лесу под Афинами поют, перекликаясь друг с другом, феи, того, кто заставил никогда не живших королей диковинной процессией прошествовать через шотландские пустоши, а Гекату вынудил укрыться в пещере вместе с ее злыми сестрами. Они попробуют взывать к авторитету Шекспира — к нему всегда взывают — и процитируют то скверно написанное место, где сказано про зеркало, которое Искусство держит перед Природой, забыв, что неудачный сей афоризм вложен, не без причины же, в уста Гамлета, чтобы окружающие имели лишнюю возможность убедиться в его полном безумии, когда дело касается искусства».

С а й р и л. Уф! Еще сигарету, пожалуйста.

В и в и э н. Дорогой мой, что бы мне ни возражали, речь-то идет всего-навсего о реплике из пьесы, и понятия самого Шекспира об искусстве эта реплика выражает ничуть не больше, чем речи Яго выражают понятия Шекспира о морали. Но позвольте дочитать этот пассаж до конца.

«Искусство находит свое совершенство в самом себе, а не вовне себя. Нельзя о нем судить исходя из внешних по отношению к нему критериев сходства. Оно скорее вуаль, чем зеркало. В нем цветут растения, каких не найти ни в одном лесу, и поют птицы, каких не встретить нигде на земле. Оно созидает и крушит многие миры, и ему ничего не стоит стащить луну с неба, закинув туда свой алый кушак. Его формы «реальней самых истинных людей», оно создает великие архетипы, по отношению к которым все сущее есть лишь незавершенная копия. В Природе для него нет законов, как нет и единства. Оно, если вздумается, способно творить чудеса, а когда оно вызывает из глубин чудищ, они покорно являются. Оно может заставить миндаль зацвести в разгар зимы и наслать снеж-

ную бурю на гнущееся под тяжестью спелых колосьев поле. По его велению мороз сковывает серебряным своим пальцем пылающие от зноя уста июня, а из провалов в лидийских горах взлетают крылатые львы. Дриады выглядывают из чашоб, когда оно проходит рядом, и смуглые фавны улыбаются при его приближении. Ему поклоняются боги с ликами, как у ястребов, и кентавры танцуют, следуя за ним шаг в шаг».

С а й р и л. Мне понравилось. Очень живописно. Это конец?

В и в и э н. Нет. Есть еще один пассаж, но там обсуждаются вещи чисто практические. Я говорю о способах, при помощи которых можно было бы вернуть к жизни утраченное нами искусство Лжи.

С а й р и л. Прежде чем вы мне прочтете это место, хотелось бы вас вот о чем спросить. Что вы подразумеваете, утверждая, что жизнь, «бедная, предсказуемая, неинтересная человеческая жизнь», попытается воспроизвести чудеса искусства? Я могу понять суть ваших возражений против того, чтобы искусство считали зеркалом. Вы находите, что в таком случае талант становится всего лишь потрескавшимся стеклом. Но вы же не станете всерьез утверждать, будто Жизнь подражает Искусству, являясь истинным зеркалом, тогда как Искусство есть реальность?

В и в и э н. Как раз это я и утверждаю. Может показаться парадоксом — а парадоксы вещь всегда опасная, — и тем не менее истина в том, что Жизнь подражает Искусству куда более, нежели Искусство следует за Жизнью. Мы все были в наши дни свидетелями того, как некий особый пленительный тип красоты, созданный и привитый двумя художниками, не лишеными воображения, до того повлиял здесь, в Англии, на Жизнь, что, отправившись ли с частным визитом, присутствуя ли на открытии художественного салона, всякий раз ловишь тот мистический взгляд, который грезился Россетти, и замечаешь длинную линию шеи цвета слоновой кости, причудливый квадратный абрис лица, беспечно спутанные темные волосы, так его восхищавшие, или же поминутно попадают живые воплощения той строгой девственности, что воспета в «Златых ступенях», губы, схожие с цветком, и тронутая усталостью красота, о коей говорит «Laus Amoris», бледное от страсти лицо, напоминающее Андромеду, тонкие запястья и изящество походки, как у Вивиан из «Сна Мерлина». Вот так всегда и обстояло дело. Выдающийся художник создает некий тип, а Жизнь пытается его скопировать, воспроизвести в популярных формах, точно находчивый издатель. Ни Гольбейн, ни Ван Дейк не могли бы найти в тогдашней Англии того, чем нас одарили их полотна. Свои образы красо-

ты они принесли с собой, Жизнь же со свойственной ей развитой способностью подражания позаботилась о том, чтобы предоставить мастеру нужную модель. Греки, обладавшие безошибочным художественным чутьем, понимали этот закон, оттого и не забывали украсить опочивальню молодоженов статуями Гермеса или Аполлона, чтобы невеста родила детей столь же прекрасных, как творения искусства, стоявшие у нее перед глазами в минуту восторга и боли. Они знали, что Жизнь заимствует у Искусства не только духовное, глубину мысли и переживания, душевные муки и душевный покой, но более того — она перенимает для своих форм те самые линии и краски, которые найдены Искусством, и способна воссоздать величие Фидия, равно как изящество Праксителя. Вот отчего греки не признавали реализм. Они его отвергли из сугубо общественных соображений. Им казалось, что реализм с неизбежностью придает людям уродство, и они были абсолютно правы. Мы пытаемся улучшить условия жизни, заботясь о чистоте воздуха, о солнечном освещении, здоровой воде и строя отвратительные дома, предоставляющие лучшие жилищные условия людям из низших слоев. Но все эти старания способны лишь поднять уровень здравоохранения, они не создают красоты. Для этого потребно Искусство, и настоящие ученики великого художника не те, кто посещают его мастерскую, подражая ему во всем, а те, кто сами становятся подобны его произведениям — пластичным, как во времена греков, или изобразительным, как сейчас; словом, Жизнь — это лучший, это единственный ученик Искусства.

В литературе дело обстоит точно так же, как в большинстве изобразительных искусств. Вот самый очевидный заурядный пример в подтверждение сказанному: начитавшись о приключениях Джека Шеппарда или Дика Терпина, глупые мальчишки громят лотки каких-нибудь несчастных торговков яблоками, вламываются по ночам в кондитерские и до полусмерти пугают возвращающихся из города к себе в предместье старичков, устраивая в переулках засады — с непременно масками на лицах и незаряженными револьверами в карманах. Такого рода происшествия, повторяющиеся всякий раз, как появляется новый выпуск серии вроде мною названных, обычно объясняют тем, что беллетристика нездорово влияет на воображение. Но это неверно. Воображение по сути своей является творческим, оно вечно занято поиском новых форм. А хулиганствующий подросток представляет собой только неизбежный результат инстинкта подражания, которым проникнута жизнь. Он есть Факт. Факт неизменно стремится воссоздать Фикцию, и то, что справед-

ливо по отношению к единичному факту, предстает законом жизни в целом, только масштаб тут гораздо больший. Шопенгауэр пишет о пессимизме как свойстве современного мышления, однако пессимизм изобрел Гамлет. Весь мир сделался печален оттого, что некогда печаль изведаль сценический персонаж. Нигилист, сей странный страдалец, лишенный веры, рискующий без энтузиазма и умирающий за дело, которое ему безразлично, — чистой воды порождение литературы. Его выдумал Тургенев, а довершил его портрет Достоевский. Робеспьер прямиком сошел со страниц Руссо, точно так же как на развалинах романа возведен Народный Дворец. Литература всегда идет впереди жизни. Она не подражает жизни, но перекраивает ее согласно своим нуждам. Тот девятнадцатый век, который для нас стал реальностью, изобретен Бальзаком. Наши люсьены де рюампре, наши растиньяки и де марсе впервые о себе заявили на подмостках «Человеческой комедии». Мы всего-навсего придаем непосредственно жизненный облик капризу, фантазии, творческому воображению великого романиста, при этом отягощая его замысел примечаниями и ненужными прибавлениями. Как-то я спросил одну даму, некогда хорошо знакомую с Теккереем, был ли у него реальный прототип Бекки Шарп. Она ответила, что Бекки вымышлена, но мысль о таком персонаже отчасти подсказала Теккерееву некая гувернантка, жившая неподалеку от Кенсингтон-сквер и являвшаяся компаньонкой какой-то богатой взбалмошной старухи. И что же с нею стало? — поинтересовался я, услышав в ответ, что через несколько лет после выхода «Ярмарки тщеславия» эта гувернантка сбежала с племянником старухи, произведя в обществе громкий скандал, совершенно в духе миссис Роудон Кроули и прямо-таки точь-в-точь по рекомендациям сей особы. История эта кончилась печально, ибо героиня затерялась где-то на континенте — ее время от времени видели в Монте-Карло и прочих зланных местах. Тот благородный джентльмен, с которого великий романист писал полковника Ньюкома, умер через несколько месяцев после появления четвертого издания «Ньюкомов», и последним словом, слетевшим с его уст, было слово «Adsum». Когда Стивенсон напечатал свою психологически занятую историю про человека, утратившего собственную личность, мой приятель, чья фамилия Хайд, очутившись в северных кварталах Лондона, торопился на станцию и решил сократить дорогу, но заблудился и долго петлял по скверным, зловещего вида улицам. Порядком занервничав, он все убыстрял шаг, как вдруг из подворотни вылетел, скатившись ему прямо под ноги, ребенок. Приятель мой споткнулся и зацепил

мальчишку. От боли тот, понятно, взвыл, и не прошло минуты, как улица заполнилась людьми, повывлезавшими из всех щелей, как муравьи. Моего друга обступили, требуя, чтобы он назвал себя. Он уже готов был это сделать, но тут ему вспомнилось, с чего начинается повесть Стивенсона. Мысль, что с ним самим происходит все то, о чем идет речь в этой страшной, превосходно написанной сцене, ибо он, пусть по чистой случайности, сделал в точности то же, что стивенсоновский Хайд делал совершенно умышленно, наполнила его ужасом, и он кинулся бежать что было сил. За ним, однако, гнались буквально по пятам, и он кинулся в первую открытую дверь, которая, как оказалось, служила входом в больницу; молодому адьюнкту, тут случившемуся, он объяснил, что происходит. Преследовавшая его толпа ревнителей справедливости отступила, удовлетвовавшись полученной от него небольшой суммой, и, поскольку улица очистилась, можно было двигаться дальше. Он вышел, и тогда-то его внимание привлекла вывеска на дверях лечебницы, давшей ему прибежище. На ней стояло: «Джекил». Но ведь так и должно было быть.

Подражание литературе, насколько о нем можно говорить, в данном случае оказалось случайным. А вот пример, когда оно вполне осознанно. В 1879 году, только что окончив Оксфорд, я на приеме у одного иностранного посланника познакомился с дамой, обладавшей очень запоминающейся экзотичной красотой. Мы с нею подружились, и нас постоянно видели вместе. Меня, впрочем, более всего привлекала не столько ее красота, сколько характер, абсолютно непредсказуемый. Казалось, в ней вообще не было индивидуальности, только ростки многих типов личности, которые могли бы развиваться. То она как будто решала без остатка посвятить себя искусству, превращала свою гостиную в мастерскую, два-три дня каждую неделю проводила в галереях и музеях. То вдруг увлекалась скачками, облекшись в самый что ни есть жокейский наряд и ведя речь исключительно про тотализатор. От религиозности она бросалась в суеверия, от месмеризма — в политику, а политические страсти уступали место мелодраматичным упоениям филантропической деятельностью. Ну Протей, да и только, причем во всех своих превращениях столь же невезучий, как этот морской бог, укрощенный Одиссеем. И вот какой-то французский журнал начал печатать роман с продолжением. Я тогда еще читал в журналах романы, и мне живо помнится, какой шок испытал я, дойдя до описания героини. На мою приятельницу она походила во всем; я принес журнал, и эта дама узнала себя с первых же строк, кажется, пленившись сход-

ством. Надо заметить, что то был перевод романа какого-то уже умершего русского писателя, так что не могло быть и речи о том, чтобы автор списал героиню с моей знакомой. Короче говоря, несколько месяцев спустя, находясь в Венеции, я снова увидел этот журнал на столике читальни у себя в отеле и решил полистать его, чтобы познакомиться с дальнейшим движением событий. Повесть оказалась до тягости грустной, ее героиня бежала из дому с человеком, который во всех отношениях ее не стоил, не только по тому месту, которое занимал в обществе, но и по свойствам души и ума. В тот вечер я написал этой даме, поделился своими взглядами на Джованни Беллини, повосторгался мороженым, которое подают в кафе «Флорио», а также художественным эффектом, оставляемым зрелищем плывущей гондолы, а в постскриптуме добавлял, что ее двойник из повести поступила далеко не самым разумным образом. Не знаю, что заставило меня добавить этот постскриптум, но помню, как я вдруг с ужасом подумал: а не сделает ли и она то же самое? Не успело письмо дойти до адресата, как она бежала с человеком, бросившим ее через полгода. Я встретил ее в 1884 году в Париже, где она жила с матерью, и спросил, повлияла ли та повесть на давнишнее ее решение. Она отвечала, что тогда испытывала неодолимое побуждение последовать за героиней, шаг за шагом повторив весь ее необычный и фатальный путь, и оттого с чувством самого неподдельного ужаса ждала журнал с последними главами романа. Когда она их прочла, явилась убежденность, что некий долг обязывает ее повторить в жизни все описанное, и так она и поступила. Нужен ли более ясный пример того подражательного инстинкта, о котором я говорил, да к тому же пример крайне трагический?

Не буду, однако, долее задерживаться на индивидуальных случаях. Все индивидуальное представляет собой крайне порочный замкнутый круг. Я же хочу указать на общий принцип, согласно которому Жизнь подражает Искусству куда больше, нежели Искусство подражает Жизни; убежден, вы с этим согласитесь, дав себе труд всерьез задуматься над сказанным. Жизнь смотрится в Искусство, словно в зеркало, и либо воссоздает некий странный образ, порожденный воображением живописца и скульптора, либо превращает в факт то, что было художественным вымыслом. Говоря научно, основа жизни — ее энергия, как выразился бы Аристотель — просто стремление выразить, а Искусство всегда создает многочисленные формы, посредством которых выразить становится возможно. Жизнь перенимает эти формы и пользуется ими, пусть даже они наносят ей самой ущерб. Молодые люди кончали с собой, потому что так

поступил Ролла, накладывали на себя руки, так как это сделал Вертер. А подумайте, сколь многим мы обязаны тому, что стремились следовать заповедям Христа или пытались подражать Цезарю.

С а й р и л. Ваша теория, что и говорить, презанятна, но чтобы ее довести до логического завершения, нужно доказать, что и Природа, не менее чем Жизнь, есть подражание Искусству. Готовы ли вы к этому?

В и в и э н. Дорогой мой, я готов доказать что угодно.

С а й р и л. Так, значит, природа подражает живописцу, переняв у него свои эффекты?

В и в и э н. Несомненно. Откуда, как не от импрессионистов, эта чудесная коричневая дымка, обволакивающая улицы наших городов, когда расплывчат свет фонарей и дома обращаются в какие-то пугающие тени? Кому, как не им и их вождю, обязаны мы чарующим серебристым туманом над реками, обращающим в неясные образы увядающего изящества изогнутые наши мосты и покачивающиеся на воде баржи? Поразительная перемена лондонского климата за последние десять лет полностью объясняется влиянием этой вот школы живописи. Вы улыбаетесь. Но подойдите к делу со стороны научной или метафизической, и вы убедитесь в моей правоте. Ибо что есть Природа? Отнюдь не выпестовавшая нас мать. Она есть наше творение. Лишь в нашем сознании пробуждается она к жизни. Вещи такие, а не иные, оттого что так, а не иначе мы их видим, а как именно и что именно мы видим, определяется Искусством, оказывающим на нас свое воздействие. Смотреть на что-то далеко не то же самое, что видеть. Не видишь ничего, пока не научишься видеть красоту. Тогда да, лишь тогда все обретает существование. Люди научились теперь видеть туман не оттого, что бывают туманы, а оттого, что поэты и живописцы объяснили им мистическую притягательность таких погодных явлений. Туманы, вероятно, случались в Лондоне веками. Рискну предположить, что это наверняка так. Но никто на них не обращал внимания, и мы о них ничего не знаем. Их не существовало, пока они не были изобретены Искусством. В наши дни, надо признать, туманы уж слишком в моде. Они превратились в знак некой клики художников со всей их манерностью, а неумеренный реализм, который свойствен таким художникам, у недалеких людей вызывает ощущение бронхита. Просвещенные проникаются эстетическим качеством, непросвещенным кажется, что они простудились. Из чувства гуманности обратим к Искусству призыв направить свой чудесный взор в иные сферы. Да оно, впрочем, уже и направило. Трепещущий белый свет

солнца, замечаемый теперь во Франции, примешивающиеся к нему странные оттенки лилового, эти беспокойные фиалковые отблески — вот последняя из его фантазий, а Природа в общем-то замечательно ей соответствует. Раньше она нам демонстрировала виды в духе Коро и Добиньи, теперь демонстрирует пейзажи в изысканной манере Моне и обворожительного Писсарро. Случаются — правда, нечасто — моменты, когда, вне всякого сомнения, Природа вдруг становится абсолютно современной, и время от времени мы это наблюдаем. Конечно, не всегда можно ей доверять. Дело в том, что она находится в невыгодном положении. Искусство создает свой несравненный единственный эффект, а достигнув его, переходит к другому. А Природа, позабыв о том, что подражание может превратиться в совершенно неосознанное оскорбление, все повторяет да повторяет этот эффект, пока он всем не надоест до предела. В наши дни, скажем, никто, наделенный хоть зачатками культуры, не поведет речь о красоте закатов. Закаты стали совсем старомодными. Они были хороши во времена, когда последним словом живописи оставался Тернер. Восторгаться ими сейчас — значит выказывать явную провинциальность духа. Но ведь и сейчас все те же закаты. Вчера вечером миссис Эрендел настойчиво приглашала меня взглянуть в окно на ослепительную красоту неба, как она выразилась. Разумеется, мне пришлось это сделать. Она из тех до нелепости хорошеньких мешаночек, которым отказать невозможно. И что же я увидел? Просто второсортного Тернера, того, который еще не вышел из своего скверного периода, к тому же все худшие его недостатки были выпячены и подчеркнуты сверх всякой меры. Понятно, я соглашусь с тем, что Жизнь очень часто совершает ту же самую ошибку. Она производит на свет своих поддельных рене и фальшивых вотренов, точно так же как Природа одаривает нас то сомнительным укиё, то еще менее внушающим доверие Руссо. Но, поступая подобным образом, она лишь внушает особенно сильное раздражение. Она предстает такой недалекой, самоочевидной, ненужной. Фальшивый Вотрен может оказаться восхитительным. Сомнительный укиё непереносим. Не хочу, впрочем, быть чрезмерно суровым к Природе. Желательно было бы, чтобы Ла-Манш, особенно под Гастингсом, не выглядел так часто подобием полотна Генри Мура — серый жемчуг с желтыми огнями, — но, когда Искусство станет разнообразнее, Природа, без сомнения, тоже сделается не столь докучливо однородной. Что она подражает Искусству, не станет, думаю, теперь оспаривать даже злейший из ее недоброжелателей. Это одно и создает связь между

нею и цивилизованным человеком. Удовлетворены ли вы, требовавший доказать мою теорию, этим рассуждением?

С а й р и л. Нет, не удовлетворен, но это даже к лучшему. Однако, даже допуская сей странный подражательный инстинкт Жизни и Природы, вы не можете отрицать, что Искусство выражает настроения эпохи, дух времени, моральные и общественные условия, в которых оно обретается и под влиянием которых создается.

В и в и э н. Ничего подобного! Искусство не выражает ничего, кроме самого себя. Это коренной принцип всей моей эстетики; и по этой именно причине, а лишь затем в силу жизненной связи содержания с формой, о чем так настойчиво говорит Пейтер, музыка есть прототип всех искусств. Само собой, и народы, и индивиды с присущим им здоровым тщеславием, которое есть истинная пружина бытия, вечно льстят себя иллюзией, будто Музы повествуют не о ком ином, как о них, вечно пытаются отыскать в спокойном достоинстве рожденного воображением искусства некие отзвуки своих буйных страстей, вечно забывают, что певцом жизни был не Аполлон, но Марсий. Далекое от реальности, отвратившее взгляд от этой пещеры с ее мельтешащими тенями, Искусство открывает нам свое совершенство, а пораженная толпа, которой предстало зрелище раскрывающейся магической розы с ее многочисленными лепестками, склоняется к выдумкам в том роде, что ей рассказывают ее же историю и что в новой форме выразился ей же свойственный дух. Но ничего этого на самом деле нет. Высшее искусство отринуло от себя бремя человеческой заботы, и новый способ художественного выражения, новый материал дают ему более, нежели любого рода энтузиазм по части искусств, любого рода возвышенные страсти или воспарения пробудившейся человеческой души. Искусство движется вперед исключительно по им самим проложенному маршруту. Оно не является выражением никакого века. Напротив, сам век есть выражение Искусства.

Даже те, кто полагают, что Искусство репрезентативно по отношению к времени, месту и нации, не могут не признать, что чем более оно подражает эпохе, тем менее передает ее дух. Траченный временем порфир и выщербленная яшма, которые так любили тогдашние художники-реалисты, являют нам жестокие лики римских императоров, и мы полагаем, что эти твердо сжатые рты, эти тяжелые чувственные подбородки дают почувствовать тайную причину гибели Империи. Но причина была совсем иной. Пороки Тиберия не в силах были сокрушить эту цивилизацию высшего типа, точно так же как не могли ее спасти добродетели Антонина. Она пала в

силу других, куда менее интересных обстоятельств. Сивиллы и прорицательницы Сикстинской капеллы кому-то и в самом деле объяснят, каким образом родился тот новый дух эмансипации, который мы называем Ренессансом; но что говорят нам о великой душе Голландии пьяные мужланы и тузющие друг друга крестьяне с картин нидерландских художников? Чем более искусство отвлеченно, чем более оно идеально, тем глубже в нем раскрывается дух его эпохи. Если мы хотим понять народ, исходя из созданного им искусства, то лучше обратиться к архитектуре или музыке.

С а й р и л. Здесь я с вами совершенно согласен. Дух эпохи всего лучше передают отвлеченные искусства, поскольку сам дух есть понятие отвлеченное и идеальное. Но с другой стороны, чтобы зримо представить себе век, чтобы почувствовать его, так сказать, облик, надо обращаться к искусствам подражательным.

В и в и э н. Я так не думаю. В конечном счете подражательные искусства лишь доносят различие стилей тех или иных художников или художественных школ. Вы ведь не допускаете мысли, будто в Средние века люди выглядели так, как выглядят фигуры на витражах, или запечатленные тогдашними ваятелями в камне, дереве, металле, или на гобеленах, или на миниатюрах в хрониках. Наверное, это были люди, с виду ничем не примечательные, лишенные всего гротескного, замечательного, необыкновенного в своей внешности. Средние века, какими мы их знаем по тогдашнему искусству, составляют просто определенный стиль, и нет причин, в силу которых художник, придерживающийся этого стиля, не мог бы явиться и в девятнадцатом столетии. Ни один великий художник не воспринимает вещи такими, каковы они есть. Иначе он перестал бы быть художником. Возьмите пример из нашей же эпохи. Я знаю, вы любите все японское. Так неужто вы полагаете, будто на самом деле существуют такие японцы, каких мы видим в их искусстве? Если так, вы явно не понимаете японскую живопись. Японцы — это творение определенных художников, вполне осознанно и с намерением представивших их так, как они представлены. Поставьте рядом картину Хокусаи, Окё, любого из японских художников и обычного японца или японку, — вы удостоверитесь, что сходства нет ни малейшего. Населяющие Японию в общем-то не так уж и отличаются от тех, кто населяет Англию; я подразумеваю, что они тоже до крайности невзрачны и в них нет решительно ничего привлекательного или необычного. Сказать по совести, вся Япония — сплошная выдумка. Нет такой страны, как и такого народа. Один из прелестных наших художников недавно отправился в страну

хризантем, наивно надеясь собственными глазами взглянуть на японцев. А все, что увидел и смог запечатлеть, — это несколько вееров да фонарей. Превосходная его выставка в галерее Даудсвелла слишком ясно свидетельствует, что никаких аборигенов он там не обнаружил. А все оттого, что ему и в голову не пришло, что японцы — это, как я уже сказал, просто некий стиль, тонкая фантазия искусства. Так что, желая ощутить специфически японский эффект, не следует уподобляться туристу и брать билет до Токио. Напротив, следует остаться дома, погружившись в изучение творчества нескольких японских художников, а когда вы глубоко прочувствуете их стиль, поймете, в чем особенность их образного восприятия, как-нибудь в полдень ступайте посидеть в парке или побродить по Пикадилли, — если же вам не удастся распознать там нечто чисто японское, значит, вы не распознаете этого нигде на свете. Или вот, возвращаясь к минувшему, возьмем Древнюю Грецию. Вы думаете, греческое искусство хоть что-то говорит нам о том, какие тогда жили греки? Что афинянки были вроде тех величественных фигур, которые красуются на фризе Парфенона, вроде поразительных богинь, украшающих его фронтоны? Если вы смотрите на искусство как на свидетельство о жизни, безусловно, так и было. Но обратитесь к авторитетам, к Аристофану хотя бы. И вы узнаете, что афинянки затягивались в пояса, носили обувь на высоких каблуках, красили волосы охрой, малевали и румянили лица, ничем не отличаясь от любой глуповатой модницы или падшей женщины нашего времени. Все дело в том, что на далекие века мы смотрим посредством Искусства, а Искусство, к счастью, никогда не передает истину.

С а й р и л. А что вы скажете о портретной живописи современных английских художников? Уж она-то старается правдиво донести облик людей, служащих ей моделями.

В и в и э н. Старается, бесспорно. И до того правдиво, что лет через сто никто не поверит, будто изображенные на этих портретах лица такими и были. Верить можно только тем портретам, в которых почти не видно модели, зато очень хорошо виден художник. Гольбейновские рисунки, на которых запечатлены тогдашние мужчины и женщины, поражают своей совершенной достоверностью. Но происходит это по единственной причине: Гольбейн заставил жизнь принять его условия, ограничить самое себя, согласно его правилам ограничения, воссоздать типы, которые он придумал, и предстать такой, как он желал ее видеть. Мы верим картине только благодаря стилю — ничему больше. Большинству наших современных портретистов суждено полное забвение. Они никогда не передают

того, что видят. Передают они то, что видит публика, а публика не видит ровным счетом ничего.

С а й р и л. Любопытно, чем же кончается ваша статья.

В и в и э н. Охотно прочту. Не знаю, право, принесет ли она какую-то пользу. Наш век, безусловно, скучен и прозаичен до невозможности. Увы, даже Сон теперь обманывает, раскрывая пред нами не врата из слоновой кости, но врата из рога. В жизни не читал ничего более гнетущего, чем записи снов наших обычных благодеиствующих соотечественников, помещенные в двух пухлых томах Майерса и в протоколах Психологического общества. Среди них даже нет ни одного сносного кошмара. Все пошло, грязно, уныло. Что до церкви, по-моему, для любой культуры решительно необходимо, чтобы среди прихожан нашлись в достаточном числе люди, чей долг верить сверхъестественному, каждодневно творить чудеса, сохранять живой ту мифопоэтическую способность, которая крайне важна для воображения. А в нашей церкви человек ценится не по умению верить, но по умению не верить. Нет другой церкви, где у алтаря стоял бы скептик, а св. Фому почитали бы лучшим из апостолов. Сколько достойных священнослужителей всю жизнь день за днем посвящают благородному служению добру, и никто их до самой смерти не оценит, не скажет о них теплого слова; но достаточно какому-нибудь выскочке с мелкой душой и дипломом одного из двух наших лучших университетов взобраться на кафедру, чтобы высказать сомнения в достоверности историй о Ноевом ковчеге, Валаамовой ослице или ките, проглотившем Иону, как половина лондонцев спешит в собор его послушать и сидит, разинув рот от восхищения его необыкновенным интеллектом. Как грустно, что в английской церкви все более ценим здравый смысл. Вот унижительная уступка реализму в его низших формах. Да ведь это, помимо всего, и глупо. Это свидетельство полного пренебрежения законами психологии. Человек способен уверовать в невозможное, но никогда — в невероятное. Ладно, прочту вам окончание статьи.

«То, что надлежит нам сделать, что является нашим долгом, есть возрождение старого искусства Лжи. Многим тут могли бы помочь, воспитывая в должном духе публику, любители — у себя дома, на литературных обедах, в беседах за чайным столом. Однако это всего только легкая, изящная ложь наподобие той, что, вероятно, была в ходу на пиршествах критянок. Существуют многочисленные иные ее формы. У древних пользовалась большим распространением ложь, имевшая целью добиться каких-то непосредственных практических выгод, скажем, ложь с моральным пафосом, как при-

нято выражаться; теперь, правда, ее презирают. Афина смеется, слыша от Одиссея, как выразился Уильям Моррис, «слова, поставленные хитроумно», — и ореол выдумщика увенчивает бледное чело безупречного героя Еврипидовой трагедии, и по той же причине оказывается причисленной к сонму выдающихся женщин прошлого юная жена из оды Горация, принадлежащей к числу лучших его од. Со временем то, что поначалу было просто естественным побуждением, возвысилось до престижа особого искусства, ведающего свои законы. В наставление человечеству были разработаны многосложные правила, и сам этот предмет помог возвыситься литературной школе, имеющей немалое значение. Припомнив, что Санчес посвятил этому предмету превосходный философский трактат, как не пожалеть о том, что никому не пришло в голову выпустить недорогое сжатое издание трудов сего великого казуиста. Краткое учебное пособие «Когда и как лгать», выпущенное красивой и не слишком дорогой книжкой, несомненно, продавалось бы очень хорошо и принесло бы реальную пользу многим серьезным, глубокомысленным людям. Еще не приказало долго жить искусство лжи с воспитательными целями, являющееся основой домашнего образования; о достоинствах этой науки так красноречиво рассказано Платоном в первых книгах «Государства», что незачем здесь их рекомендовать. К такого рода лжи особо склонны все матери, но дарования, которыми они для нее обладают, могут быть и обогащены, о чем, увы, не догадывается департамент школьного обучения. На Флит-стрит, надо ли пояснять, прекрасно владеют тайнами лжи, обеспечивающей месячный оклад, и ремесло политического лидера или оратора по политическим вопросам не лишено своих преимуществ. Говорят, правда, что это непривлекательная профессия, и вознаграждает она немногим, помимо самой явной безвестности. Единственная ложь, которой немислимо предъявить упреки, есть Ложь во имя себя самой, а высшим ее выражением, как мы уже говорили, является Ложь в Искусстве. Как те, кому Истина дороже Платона, никогда не переступят порог Академии, так люди, дорожащие Правдой более, чем Красотой, не будут допущены в святая святых Искусства. Британский твердокаменный интеллект обретается в песках пустыни, подобно сфинксу из чудесной повести Флобера, а фантазия, эта Химера, кружится вокруг него в танце и зовет его за собой своим неистинным голосом, схожим с пением свирели. Интеллект, вероятно, пока что ее не слышит, но будьте уверены, наступит день, когда все мы проникнемся глубочайшим отвращением к

заурядности сегодняшних выдумок, и тогда наш сфинкс, внимая танцовщице, попросит у нее напрокат ее крылья.

А когда воссияет этот день, когда разгорится его заря, какую все мы испытаем радость! Факты начнут воспринимать как не внушающие доверия, Истине останется оплакивать свои оковы, а Романтика, чьей душой всегда было сознание чуда, вернется в нашу жизнь. Сама внешность мира изменится в наших изумленных глазах. Бегемот и Левиафан явятся из морских глубин и последуют за высокортными галерами, как на восхитительных картах той поры, когда книги по географии еще можно было читать. По пустошам будут бродить драконы, и Феникс воспарит из своего огненного гнезда. Мы возложим ладони на василиска и увидим, как бриллиант увенчает голову жабы. Гиппогриф придет в наши стойла за своим золотым овсом, а над нами будет парить Синяя птица, распевая о вещах прекрасных и невозможных, чудесных и никогда не бывших, не существующих, но обязанных существовать. Но прежде чем все это произойдет, выучимся вновь утраченному нами искусству Лжи».

С а й р и л. Ну тогда нам надо приниматься за дело безотлагательно. Но, чтобы избежать ошибок, не могли бы вы вкратце изложить основания новой эстетики?

В и в и э н. Вкратце они таковы. Искусство не выражает ничего, кроме самого себя. Оно обладает независимой жизнью, как обладает ею Мысль; оно движется вперед исключительно по проложенному им самим маршруту. Оно не обязано становиться реалистичным, когда настал век реализма, как и проникаться религиозностью в эпохи веры. Вовсе не являясь порождением своего времени, оно чаще всего находится в прямом конфликте с ним, и единственная история, которая им для нас запечатлена, — это история его собственного развития. Иногда оно возвращается к тому, что им уже пройдено, возрождает древние свои формы, как произошло в позднем греческом искусстве с его пристрастием к архаике или в современном нам прерафаэлитском движении. А случается, оно далеко обгоняет свое время, и понадобится целое столетие, прежде чем поймут создаваемое сегодня, научатся это воспринимать и ценить. Но никогда искусство не отражает свой век. Огромная ошибка всех историков состоит в том, что они идут от искусства той или иной эпохи к самой эпохе.

А вот второе важнейшее положение. Все скверное искусство обязано своим существованием попыткам вернуться к Жизни и Природе, мысля их в качестве идеала. Жизнь и Природа могут порою служить Искусству сырым материалом, однако прежде, чем

они станут пригодны для Искусства, необходимо их претворить в согласии с его законами условности. Как только Искусство утрачивает свой принцип воображения, оно утрачивает все. Реализм в качестве художественного принципа полностью несостоятелен; каждый художник должен избегать двух опасностей — стремления к современности формы и стремления к современности содержания. Для нас, живущих в девятнадцатом столетии, достойным предметом искусства может стать любой век, кроме нашего собственного. Прекрасно только то, что не имеет к нам непосредственного касательства. Иначе говоря — не откажу себе в удовольствии себя процитировать, — именно по той причине, что Гекуба нам ничто, ее горести составляют столь благодарный материал для трагедии. К тому же лишь современному суждено стать старомодным. Золя старательно создает панораму Второй империи. Но кому теперь интересна Вторая империя? Она уже устарела. Жизнь движется быстрее Реализма, однако Романтизм всегда остается впереди Жизни.

Третий пункт сводится к тому, что Жизнь подражает Искусству гораздо более, нежели Искусство подражает Жизни. Это не только следствие присущего Жизни подражательного инстинкта, но и того, что осознанным стремлением Жизни является поиск выражения, а Искусство предоставляет ей различные превосходные формы, в которые может излиться ее энергия. Никто прежде не высказывал подобных мыслей, однако они чрезвычайно плодотворны и позволяют всю историю Искусства увидеть в новом свете.

Отсюда по логике вещей следует, что и Природа подражает Искусству. Она способна продемонстрировать лишь те эффекты, которые нам уже знакомы благодаря поэзии или живописи. Вот в чем секрет очарования Природы, равно как тайна ее изъянов.

Последнее же положение таково: Ложь, умение рассказывать прекрасные истории, каких никогда не случалось, составляет истинную цель Искусства. Впрочем, об этом я, кажется, говорил достаточно подробно. А теперь пойдете-ка на террасу, где возникнет «призраком павлин молочно-белый» и вечерняя звезда «сребром окрасит небосклон». В сумерки природа вызывает самые захватывающие ассоциации и становится не лишенной собственного шарма, хотя главное ее назначение, видимо, в том, чтобы иллюстрировать строки поэтов. Пойдете, разговор наш и без того затянулся.



СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ





Художник

Однажды вечером в его душе зародилось желание создать образ «Удовольствия, которое длится лишь мгновение». Тогда он вышел в мир, ибо мог творить только в бронзе.

Но бронза во всем мире исчезла, и ее нигде нельзя было найти, кроме образа «Скорби, которая длится вечно».

Этот образ он изваял своими руками и установил на надгробии единственного человека, которого любил. На надгробии любимого мертвеца он воздвиг этот образ как знак неумирающей любви и непреходящей скорби. И во всем мире не было другой бронзы, кроме этого образа.

Тогда он взял созданный им образ, бросил в большую плавильную печь и предал его огню.

А потом из бронзы образа «Скорби, которая длится вечно» он изваял образ «Удовольствия, которое длится лишь мгновение».





Творящий благо

Сстояла ночь, и Он был один. Вдалеке увидел Он стены, окружавшие город, и направился к этому городу.

Когда же Он приблизился к городу, то услышал радостную поступь, веселый смех и громкие звуки множества лютен. Тогда Он постучал в ворота, и привратники открыли Ему.

Там Он узрел мраморный дом с колоннами у фасада. Колонны были украшены гирляндами, а снаружи и внутри пылали кедровые факелы. И вошел Он в дом.

Когда же Он прошел через халцедоновый зал, яшмовый зал и вошел в длинную трапезную, то увидел на пурпурном ложе человека, чьи волосы были увенчаны алыми розами, а губы были красны от вина.

Тогда Он подошел сзади, прикоснулся к плечу человека и спросил его: «Почему ты так живешь?»

И повернулся юноша, и узнал Его, и ответил: «Некогда я был прокаженным, и Ты исцелил меня. Как еще я могу жить?»

Тогда Он вышел из дома и вернулся на улицу. Вскоре Он увидел женщину, чье лицо и одежды были ярко раскрашены, а ноги обуты в жемчужные туфли. За ней медленно, как охотник, крался юноша в двухцветном плаще. Лицо женщины было подобно лицу прекрасного храмового идола, а глаза юноши блестели от похоти.

Он быстро пошел за ними, прикоснулся к руке юноши и спросил: «Почему ты так смотришь на эту женщину?»

И обернулся юноша, и узнал Его, и ответил: «Некогда я был слеп, и ты даровал мне зрение. На что еще я должен смотреть?»

Тогда Он устремился вперед, прикоснулся к многоцветным одеждам женщины и спросил ее: «Неужели нет иного пути, по которому можно следовать, кроме греховного пути?»

И обернулась женщина, и узнала Его, и со смехом ответила: «Но ты же простил мои грехи, а мой путь — это путь наслаждения».

Тогда Он покинул город.

И когда Он выходил из ворот, то увидел юношу, который сидел на обочине и горько плакал.

И подошел Он к юноше, и прикоснулся к его локонам, и спросил: «Почему ты плачешь?»

И обернулся юноша, и узнал Его, и ответил: «Некогда я был мертв, а ты воскресил меня. Что еще мне остается, кроме скорби и рыданий?»



ПРИЛОЖЕНИЕ
Поэтические произведения





Сфинкс

*Марсело Швобу,
дружески и восхищенно*

В глухом углу, сквозь мрак неясный
Угрюмой комнаты моей,
Следит за мной так много дней
Сфинкс молчаливый и прекрасный.

Не шевелится, не встает,
Недвижный, неприкосновенный,
Ему ничто — луны изменной
И солнц вращающихся ход.

Глубь серую сменяя красной,
Лучи луны придут, уйдут,
Но он и ночью будет тут,
И утром гнать его напрасно.

Заря сменяется зарей,
И старше делаются ночи,
А эта кошка смотрит, — очи
Каймой обвиты золотой.

Она лежит на мате пестром
И смотрит пристально на всех,
На смуглой шее вьется мех,
К ее ушам струится острым.

Ну что же, выступи теперь
Вперед, мой сенешаль чудесный!
Вперед, вперед, гротеск прелестный,
Полужена и полужверь.

Сфинкс восхитительный и томный,
Иди, у ног моих ложись,
Я буду гладить, точно рысь —
Твой мех пятнистый, мягкий, темный.

И я коснусь твоих когтей,
И я сожму твой хвост проворный,
Что обвился, как Аспид черный,
Вкруг лапы бархатной твоей.

Столетний счет тебе был велен,
Меж тем как я едва видал,
Как двадцать раз мой сад менял
На золотые ризы зелень.

Но пред тобою обелиск
Открыл свои иероглифы,
С тобой играли гиппогрифы
И вел беседы василиск.

Видала ль ты, как, беспокоясь,
Изида к Озирису шла?
Как Египтянка сорвала
Перед Антонием свой пояс —

И жемчуг выпила, на стол
В притворном ужасе склоняясь,
Пока проконсул, насыщаясь
Соленой скумброй,пил рассол?

И как оплакан Афродитой
Был Адониса катафалк?
Вел не тебя ли Аменалк,
Бог, в Гелиополисе скрытый?

Ты знала ль Тота грозный вид,
Плач Ио у зеленых склонов,
Покрытых краской фараонов
Во тьме высоких пирамид?

Что ж, устремляя глаз сиянье
Атласное в окрестный мрак,
Иди, у ног моих приляг
И пой свои воспоминанья,

Как со Святым Младенцем шла
С равнины Дева назаретской;
Ведь ты хранила сон их детский
И по пустыням их вела.

Пой мне о вечере багряном,
Том душном вечере, когда
Смех Антиноя, как вода,
Звенел в ладье пред Адрианом,

А ты была тогда одна
И так достать его хотела,
Раба, чей красен рот, а тело —
Слоновой кости белизна.

О Лабиринте, где упрямо
Бык угрожал из темноты;
О ночи, как пробралась ты
Через гранитный плинтус храма,

Когда сквозь пышный коридор
Летел багровый Ибис с криком
И темный пот стекал по ликам
Поющих в страхе Мандрагор,

И плакал в вязком водоеме
Огромный, сонный крокодил
И, сбросив ожерелья, в Нил
Вернулся в тягостной истоме.

Не внемля жреческим псалмам,
Их змея смела ты похитить
И ускользнуть, и страсть насытить
У содрогającychся пальм.

Твои любовники... за счастье
Владеть тобой дрались они?
Кто проводил с тобой все дни?
Кто был сосудом сладострастья?

Перед тобою в тростниках
Гигантский Ящер пресмыкался,

Иль на тебя, как вихрь, бросался
Грифон с металлом на боках?

Иль брел к тебе неумолимый
Гиппопотам, открывши пасть,
Или в Драконах пела страсть,
Когда ты проходила мимо?

Иль из разрушенных гробов
Химера выбежала в гнев,
Чтобы в твоём несытом чреве
Зачать чудовищ и богов?

Иль были у тебя ночами
Желанья тайные, и в плен
Заманивала ты сирен
И нимф с хрустальными плечами?

Иль ты бежала в пене вод
К Сидонцу смуглому, заране
Услышать о Левиафане,
О том, что близок Бегемот?

Иль ты, когда уж солнце село,
Прокрадывалась в мрак трущоб,
Где б отдал ласкам Эфиоп
Свое агатовое тело?

Иль ты в тот час, когда плоты
Стремятся вниз по Нилу тише,
Когда полет летучей мыши
Чуть виден в море темноты,

Ползла по краю загражденья,
Переплывала реку, в склеп
Входила, делала вертеп
Из пирамиды, царства тленья,

Пока, покорствуя судьбе,
Вставал мертвец из саркофага?
Иль ты манила Трагелага
Прекраснорогого к себе?

Иль влек тебя бог мух, грозящий
Евреям бог, который был
Вином обрызган? Иль берилл,
В глазах богини Пашт горящий?
Иль влюбчивый, как голубок
Астарты, юный бог тирийский?
Скажи, не бог ли ассирийский
Владеть тобой хотел и мог?
Чьи крылья вились над бесстрастным,
Как бы у ястреба, челом
И отливали серебром,
А кое-где горели красным?
Иль Апис нес к твоим ногам,
Свернув с назначенных тропинок,
Медово-золотых кувшинок
Медово-сладкий фимиам?

Как! ты смеешься! Не любила,
Скажи, ты никого досель?
Нет, знаю я, Амон постель
Делил с тобою возле Нила.
Его заслыша в тьме ночной,
Речные кони ржали в тине,
Он пахнул гальбаном пустыни,
Мидийским нардом и смолой.
Как оснащенная галера,
Он шел вдоль берега реки,
И волны делались легки,
И сумрак прятала пещера.
Так он пришел к долине той,
Где ты лежала ряд столетий,
И долго ждал, а на рассвете
Агат грудей нажал рукой.
И стал твоим он, бог двурогий,
Уста устами ты сожгла,
Ты тайным именем звала
Его и с ним была в чертоге.

Шептала ты ушам царя
Чудовищные прорицанья,
Чудовищные волхвованья
В крови тельцов и коз творя.
Да, ты была женой Амона
В той спальне, словно дымный Нил,
Встречая страсти дикий пыл.
Улыбкой древней, негой стона.

Он маслом умащал волну
Бровей, и мраморные члены
Пугали солнце, точно стены,
И бледной делали луну.
Спускались волосы до стана,
Желтей тех редкостных камней,
Что под одеждою своей
Несут купцы из Курдистана.
Лицо цвело, как муст вина,
Недавно сделанного в чанах,
Синее влаги в океанах
Синела взоров глубина.
А шея, плечи, на которых
Сеть жил казалась голубой,
И жемчуг искрился росой
На шелковых его уборах.

Поставленный на пьедестал,
Он весь горел, — и слеп глядящий,
Затем, что изумруд горящий
На мраморной груди сиял,
Тот страшный камень, полнолуны
В себе сокрывший (водолаз,
Найдя его в Колхиде, раз
Колхидской подарил колдунье).
Бежали на его пути
Увенчанные корибанты,

Суровые слоны-гиганты
Склонялись, чтоб его везти.

Нубийцы смуглые рядами
Несли носилки, чтоб он мог
Смотреть в простор больших дорог
Под радужными веерами.

Ему янтарь и стеатит
Стремил корабль, хитро раскрашен,
Его ничтожнейшие чаши
Нежнейший были хризолит.

Ему везли ларцы из кедра
С одеждой пышною купцы,
Носили шлейф за ним жрецы,
Им принцы одарялись щедро.

Пятьсот жрецов хранили дверь,
Пятьсот других молились, стоя,
Пред алтарем его покоя
Гранитного, — и вот, теперь

Ехидны ползают открыто
Среди поверженных колонн,
А дом разрушен, и склонен
Надменный мрамор монолита.

Онагр приходит и шакал —
Дремать в разрушенных воротах,
Сатиры самок ищут в гротах.
Звеня в зазубренный цимбал

И тихо на высокой крыше
Мартышка Горура среди мглы
Бормочет, слыша, как стволы
Растут, сквозь мрамор, выше, выше.

А бог разбросан здесь и там:
Я видел каменную руку,
Все сжатую еще, на муку
Сыпучим данную пескам.

И часто, часто перед нею
Дрожала гордых негров рать
И тщетно думала поднять
Неслыханно большую шею.
И бородатый бедуин,
Бурнус откидывая пестрый,
Глядит часы на профиль острый
Того, кто был твой паладин.

Иди, ищи обломки бога,
Омой их вечером в росе,
Один с одним, сложи их все
И призывай их к жизни строго.

Иди, ищи их, где они
Лежат, составь из них Амона
И в исковерканное лоно
Безумье прежнее вдохни.

Дразни словами потайными;
Тебя любил он, доброй будь!
Возлей на кудри нард, а грудь
Обвей полотнами тугими.

Вложи в ладони царский жезл
И выкрась губы соком ягод,
Пусть ткани пурпурные лягут
Вокруг его бесплодных чресл.

В Египет! Не страшна утрата!
Один лишь Бог сходил во тьму,
Пронзило бок лишь одному
Копье сурового солдата.

А эти? Нет, они живут!
Анубис все сидит в воротах,
Набрал он лотосов в болотах,
Они хребет твой обовьют.

И, на порфириное ложе
Облокотясь глядит Мемнон;

И каждым желтым утром он
Тебе поет одно и то же.

Нил с рогом сломанным все ждет
В постели тинистой, во мраке,
И на засохнувшие злаки
Не разливает мутных вод.

Никто из них не умер; быстро
Сбегутся все они, любя,
И будут целовать тебя
Под звон тимпана или систра

Поставь же парус у ладьи,
Коней — у черной колесницы,
А если древние гробницы
Уже скучны тебе, иди

По следу льва, к его вертепам,
Поймай его среди диких скал
И умоляй, чтобы он стал
Твоим любовником свирепым.

С ним рядом ляг у тростника
И укуси укусом змея,
Когда ж он захрипит, слабея,
Ударь хвостом свои бока.

И тигра вымани из грота,
Своим супругом называй
И на спине его въезжай
Через Фиванские ворота.

Терзай его в пылу любви,
А если он кусаться будет,
Свали его ударом груди
И тяжелой лапой раздави.

Зачем ты медлишь? Прочь отсюда!
Ты мне ужасна с давних пор,
Меня томит твой долгий взор,
О, вечно дремлющее чудо.

Ты задуваешь свет свечей
Своим дыханием протяжным,
И лоб мой делается влажным
От губельной росы ночей.

Твои глаза страшны, как луны,
Дрожащие на дне ручья,
Язык твой красен, как змея,
Которую тревожат струны.

Твой рот, как черная дыра,
Что факел или уголь красный
Прожег на пестроте прекрасной
Месопотамского ковра.

Прочь! Небо более не звездно.
Луна в восточные врата
Спешит, ее ладья пуста...
Прочь! Или будет слишком поздно.

Смотри, заря спугнула тень
Высоких башен, дождь струями
Вдоль окон льется и слезами
Туманный омрачает день.

Какая фурия в веселье
Тебя сквозь беспокойный мрак,
В питье царицы всыпав мак,
В студенческой забыла келье?

Какой нездешний грешный дух
Принес мне губельный подарок?
О, если б свет мой был не ярк
И не приманивал вас двух!

Иль не осталось под луною
Проклятых более, чем я?
Аваны, Фарфара струя
Иссякла ль, что ты здесь, со мною?

О тайна, мерзкая вдвойне,
Пес ненавистный, прочь отсюда



Ты пробуждаешь с жадой чуда
Все мысли скотские во мне.

Ты называешь веру нищей,
Ты вносишь чувственность в мой дом,
И Атгис с поднятым ножом
Меня, смущенного, был чище.

Злой Сфинкс! Злой Сфинкс! Уже с веслом
Старик Харон стоит в надежде
И ждет, но ты плыви с ним прежде,
А я останусь пред крестом,

Где слезы льются незаметно
Из утомленных скорбью глаз,
Они оплакивают нас
И всех оплакивают тщетно.





Содержание

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ. Роман. *Перевод М. Абкиной* 7

РАССКАЗЫ

Преступление лорда Артура Сэвила. *Перевод Д. Аграчева* 203
Сфинкс без загадки. *Перевод М. Ричардса* 233
Кентервильское привидение. *Перевод Ю. Кагарлицкого* 239
Натурщик-миллионер. *Перевод М. Ричардса* 265
Портрет г-на У.Х. *Перевод С. Силищева* 271

СКАЗКИ

Юный Король. *Перевод М. Корневой* 303
День рождения Инфанты. *Перевод В. Орла* 315
Рыбак и его душа. *Перевод К. Чуковского* 332
Мальчик-звезда. *Перевод Т. Озерской* 364
Счастливый Принц. *Перевод К. Чуковского* 380
Соловей и Роза. *Перевод М. Благовещенской* 389
Великан-эгоист. *Перевод Т. Озерской* 395
Преданный друг. *Перевод Ю. Кагарлицкого* 399
Замечательная ракета. *Перевод Т. Озерской* 409

ПЬЕСЫ

Герцогиня Падуанская. *Перевод В. Брюсова* 423
Веер леди Уиндермир. *Перевод М. Лорие* 528
Женщина, не стоящая внимания. *Перевод Н. Дарузес* 584
Идеальный муж. *Перевод О. Холмской* 648
Как важно быть серьезным. *Перевод И. Кашкина* 732
Саломея. *Перевод с французского М. Корневой* 790
Святая блудница. *Перевод М. Корневой* 818
Флорентийская трагедия. *Перевод М. Кудинова* 824
Вера, или Нигилисты. *Перевод К. Савельева* 853

ЭССЕ

Упадок лжи. <i>Перевод А. Зверева</i>	909
Душа человека при социализме. <i>Перевод О. Кириченко</i>	941
Критик как художник. <i>Перевод А. Зверева</i>	975
Перо, полотно и отравы. <i>Перевод А. Зверева</i>	1044
Истина о масках. <i>Перевод М. Кореновой</i>	1065
De Profundis. <i>Тюремная исповедь. Перевод Р. Райт-Ковалевой и М. Ковалевой</i>	1090

СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ*Перевод К. Савельева*

Художник	1203
Творящий благо	1204
Ученик	1206
Учитель	1207
Чертог Суда	1208
Учитель мудрости	1210

ПРИЛОЖЕНИЕ. Поэтические произведения

Сфинкс. <i>Перевод Н. Гумилева</i>	1217
Баллада Редингской тюрьмы. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	1228
Равенна. <i>Перевод С. Герасимовой</i>	1247

<i>Николай Пальцев. Оскар Уайльд: невольник чести, данник красоты</i>	1257
---	------

